

Сад



Геше Майкл Роуч

Безымянный юноша, снедаемый жаждой духовного знания, встречает златовласую девушку, которая увлекает его в сказочный Сад, где ему предстоит освоить уроки мудрости. Здесь ему являются лама Цонкапа, Будда Майтрея, Первый Далай-лама и другие отцы-основатели буддизма. Их уроки и наставления, пронизанные ясностью, мудростью и бескомпромиссным светом знания, раскрывают перед юношей сокровенные тайны тибетской духовной традиции.

Оригинальный сюжет, великолепный язык и глубина проникновения в тонкости буддийского учения делают эту книгу настоящей находкой для всех, кто интересуется духовными учениями Востока.

Посредством истории о юноше, которого привело в Сад Прекрасное воплощение мудрости, автор вводит нас в пантеон величайших мастеров буддизма: философов, йогин, столпов мистицизма, дающих ему бесценные учения и наставления, языком притчи знакомит читателя с многовековой мудростью тибетского буддизма. Книга, несомненно, станет находкой для всех, кто интересуется индо-тибетским буддизмом и духовными учениями Востока в целом.

Геше Майкл Роуч - буддийский монах и наставник с двадцатипятилетним стажем. Первый американец, получивший титул геше - доктора буддийской философии. Знаток санскрита, тибетского и русского языков. Основатель Института азиатской классики и Проекта по сохранению азиатского литературного наследия (Asian Classics Input Project - ACIP).

Роуч, Майкл

Сад. Притча.

Пер. с англ. В. Ковалева

ISBN 5-9743-0034-3



Geshe Michael Roach

THE GARDEN

a parable

Doubleday
New York
2000

Геше Майкла Роуч

САД

притча



ОТКРЫТЫЙ
М И Р
МОСКВА • 2006

Глава 1



СОЛНЦЕ

Я увидел её в праздничный день, День благодарения. Матери наши дружили; у её матушки было четыре дочери, а у моей — четверо сыновей. Должно быть, они как-то встретились на базаре и задумали совместный ужин, вроде смотрин.

В тот день мы с братьями работали возле дома. Ничего толком не зная об этом плане, мы возились со сломанной телегой и испачкались с ног до головы. Девушки приезжали поодиночке, каждая в своё время. Когда первая, самая старшая, слезла во дворе с коня, то увидела только чумазы физиономии парней, пялившихся на неё из-под тележной оси; она была необычайно красивой, у неё были чёрные волосы и тёмные глубокие глаза. После того как она вошла в дом, мы работали спустя рукава, пока не приехала вторая. Это была блондинка, крепко сбитая и такая же ослепительно красивая, как и сестра. К её приезду мы уже были на ногах, пытаюсь привести свою одежду в божеский вид.

Позже, совсем как в сказке, появилась и третья — темноволосая красавица со смеющимся лицом и весёлыми глазами. Она прошла мимо нас к входной двери, где её ожидала моя матушка. Достаточно было её мимолётного взгляда, чтобы мы бросили телегу и принялись усердно драить свои руки и лица. Потом в небольшом фургончике прикатила мать четырёх сестёр, рядом с ней сидела её младшенькая — стройная тихая девушка с золотыми локонами. Вечернее солнце катилось за дом, утопая в золоте и багрянце, и когда его лучи нежно касались этого прекрасного лица, то вся она казалась вторым — нет, первым! — солнцем... И вот уже мы все сидим в доме. Тепло и уютно, весело пылают свечи, на столе вкусная еда и везде незабываемая атмосфера юности и красоты — неповторимое девичье очарование.

На следующее утро среди посуды оказался небольшой горшочек, в котором наши гости привезли вчера закуску, сейчас уже не помню какую. Думаю, это была первая из тех случайностей, что вели меня потом всю мою жизнь и которые раз от разу всё меньше казались мне случайностями. Матушка повернулась ко мне и спросила, не хочу ли я

вернуть горшочек хозяйке. Её глаза, казалось, говорили о том, что мне необходимо это сделать, что есть важная причина сходить туда. Ну, я и пошёл.

У её матери были точно такие же говорящие глаза, когда она открыла мне дверь и взглянула на меня. Я протянул ей горшочек, да так, что невольно слегка переступил порог, чем вынудил её вступить в беседу, которая, казалось, всё равно была запланирована. И тогда я спросил, не возражает ли она, если её златовласая дочь станет прогуливаться со мной по вечерам. Лёгкая улыбка тронула её губы, она внимательно посмотрела мне в глаза своими добрыми карими глазами и сказала, что это будет здорово.

Сначала я вёл её знакомыми путями. Она шла рядом, а меня распирала гордость от того, что она не вырывала свою руку из моей. Я плохо разбирал дорогу, потому что прядь её волос касалась моего плеча и взор мой туманился. Вскоре мы оказались на какой-то тропинке, которую я совсем не знал. Стало темно. В той то ли степи, то ли пустыне, где мы жили, всегда быстро темнеет по вечерам в начале зимы.

Этот момент навсегда врезался в мою память, ведь тут-то и началось моё обучение. Но не тому, о чём пишут в учебниках, о чём рассказывают в школьных классах, где я успел провести уже немало времени, а действительно важным вещам, первостепенную значимость которых мы понимаем только с возрастом, — короче, тому, что связано с жизнью духа. Именно тогда я впервые лицом к лицу узрел величайшего врага человечества, и это она показала мне его, как показала и благородного воителя, который призван сокрушить этого грозного врага, если только смерть не опередит его.

Она привела меня в Сад, окружённый каменными стенами. На западе к нему примыкала небольшая каменная же часовня. Правда, в ту первую ночь я разглядел только громадное дерево — необычайная редкость в нашей-то пустыне! — с огромным толстенным стволом и длиннющими ветвями, свисающими вниз наподобие шатра, укрывающего и от ночи, и от всего внешнего мира. Я прислонился спиной к дереву, а она прижалась ко мне; по всей длине моей ноги, там, где к ней прикасалась нога девушки, я почувствовал нестерпимый жар, — казалось, само солнце опалило меня. С тех пор мне почти не приходилось встречаться с тем, чтобы человеческое тело было таким почти неправдоподобно, сверхъестественно горячим.

Мне взбрело в голову рассказать ей о своей учёбе, о почерпнутых из каких-то книг чужих идеях, с которыми я тогда носился, похвалиться перед ней школьными успехами и растущим авторитетом среди одноклассников. Я уже открыл было рот...

Она просто взглянула на меня чуть снизу своими чудными карими оленьими глазами. Её веки были полуприкрыты, как будто она испытывала непонятное мне наслаждение. Взглянула — и я ничего не смог сказать. Мне достаточно было этого томного взгляда, чтобы понять: моя истинная задача лежит не в области научных изысканий, а в овладении самим собой, в преодолении своей гордости. Вот чему научила меня эта совсем молодая — много младше, чем я, тогда ещё шестнадцатилетний, — девушка. И тут же, словно в награду, она припала щекой к моему сердцу, и роскошные золотые волосы её обдали меня, словно водопадом.

Меня охватило какое-то необычное, новое, не испытанное ранее волнение — так вожделение вошло в мою жизнь, чтобы стать её вечным спутником, моим грозным и очень серьёзным противником. Я протянул было руки, чтобы коснуться её маленьких грудей, но она снова подняла на меня глаза. Они раскрылись несколько шире, и на этот раз в них отчасти даже сверкнула строгость. Я вдруг понял, что не могу пошевелить даже пальцем. И в этот момент эти самые глаза преподали мне второй урок — я почувствовал, как моё сердце входит в иное измерение, в обитель добродетели.

И она повернулась, и взяла меня за руку, и увлекла меня прочь из Сада, по-прежнему не говоря ни единого слова. На меня же тем временем нахлынуло какое-то разочарование, я ощущал себя обманутым и уязвлённым. Но как только эти чувства проявились во мне, она остановилась, круто развернулась и в третий раз взглянула на меня.

Невозможно описать увиденное тогда, но я всё же попробую. Золотой ангел стоит передо мной в полный рост, руки по бокам и слегка приподняты, ладони обращены ко мне, сверкающие золотые волосы ореолом обрамляют лицо, а само это лицо сияет в свете луны, взошедшей над тем самым деревом — как сейчас помню, это была чинара — позади нас. Степной ветерок слегка шевелит её шёлковую блузку и приподнимает юбку. И глаза, снова эти глаза, на это раз вопрошающие — разве я имею право сердиться, не важно, сейчас или вообще, на неё или на любое живое существо? Разве я ещё не понял, что с этого момента и

навсегда начинается мой истинный путь, посвященный единственно тому, чтобы научиться побеждать темноту и этим даровать жизнь, бесконечную жизнь золотому свету в своём собственном уме?

Так я получил от неё путевку в ту жизнь, о которой собираюсь рассказать, а когда мы расставались, она сказала только: «Прикоснись уже к Солнцу; Оно тебя не опалит».

Глава 2



БОЛЬ. ЦОНКАПА

Время шло, а она всё водила меня в Сад, продолжая давать мне всё новые и новые уроки, которые когда-то начались там. Это всегда случалось по ночам, и всякий раз, как только мы проходили через калитку, она больше не произносила ни слова — всё обучение шло через её глаза, её руки и волосы, её прикосновения. Занятия обрели привычную форму. Обычно я думал лишь о тепле и аромате, исходявших от неё, а она молчала и размышляла — о чём, я так толком и не знаю.

Похожие на двух юных влюблённых, мы проводили вместе долгие часы во взаимном созерцании — то познавая друг друга, то снова откидываясь на траву под чинарой, то слушая журчание струй фонтана или пение ночных птиц, то просто наслаждаясь лёгким степным ветерком, обдувающим наши тела. И всякий раз, когда омрачённая мысль, вызванная гордостью или страстью, завистью или непониманием, неприязнью или даже ненавистью, посещала мой ум, мой взгляд неизменно встречался с её глазами. Обычно полузакрытые в неизвестном мне удовольствии, они вдруг становились жёсткими, почти осуждающими, и тогда я понимал, что она ясно видит, о чём я думаю, и мне ничего не оставалось, кроме как взглянуть, будто в зеркало, на самого себя, на свой ум, осознать бесполезность и нечистоплотность моих мыслей и попросту прервать, остановить их поток на полуслове. Уже в самой этой остановке мыслей было своего рода удовольствие, но была и другая награда: как только мои порочные мысли становились праведными, в следующую же секунду она поощряла меня, как ребёнка, которому дают конфетку за хорошее поведение, только вместо конфетки был поцелуй, прикосновение локона или другая какая ласка. Вот так она и натаскивала меня в Саду, как молодого щенка, учила следить за своими мыслями и за своим умом и стараться держать их в возвышенной чистоте.

У этих ночных уроков был свой ритм и свой темп, а параллельно с ними продолжалось моё школьное обучение, моё познание окружающего мира. Уроки в Саду казались какими-то неземными, да они и были

такими — не от мира сего; но ещё чаще мне казалось, что мои дневные занятия реальнее, важнее и нужнее. Я здорово опережал своих одноклассников, это осознание превосходства наполняло меня силой вперемешку с гордостью. Оба эти чувства достигли своего пика, когда мне вдруг пришло письмо от самого императора, скреплённое и его собственноручной подписью, и царской печатью, приглашающее меня проследовать в столицу, быть представленным ко двору и поступить в Императорскую академию. Это было мечтой любого деревенского паренька, и редко кому из нас выпадала такая честь. Зажав письмо в руке, я вскочил в седло и поскакал к дому её матери, чтобы поделиться с Золотым ангелочком моим успехом.

Это был необычайный урок, лучший из всех, полученных мною, на этот раз по предмету «гордыня». Никогда не забуду её взгляд, тем более что это был чуть ли не последний раз, когда мы с ней виделись. Она полулежала на кушетке, раскинув пышные золотые волосы по её спинке, одетая в простую коротенькую сорочку, то здесь, то там вышитую красными розами и отливавшую шёлком, очень похожим на японскую золотую парчу, а может, и не парчу, — нечасто в те времена попадались такие ткани в наших краях. Я ворвался в комнату, спеша показать ей приглашение с царской печатью и милостивыми словами государя, и развернул перед ней письмо.

«Это от самого царя! Только подумай, меня представляют ко двору и принимают в Императорскую академию!» Но в её взгляде я снова не увидел ни малейшего намека на то, что она хотя бы услышала мои слова, — она, как всегда, подняла на меня совершенно невинные карие глаза, слегка затуманенные наслаждением, так что их можно было принять за глаза самки оленя или другого какого животного, — столько в них было бесхитростности, а может, наоборот, всеведения. И снова не было слов, было только зеркало, в котором я разглядел свою всё возрастающую самонадеянность. Я притормозил было, но вовсе остановиться не смог; ещё год не кончился, как я уже уехал в столицу навстречу своей судьбе и карьере.

За пару секунд можно рассказать то, на что ушли у меня годы: я пообвык и пообтёрся и в столице, и при дворе, и в Академии, а те, в свою очередь, перемололи меня. Мои преподаватели были так хорошо подготовлены — глубоко, но узко, — что я учился много, а узнал от них мало. Я вернулся домой с почётнейшей учёной степенью, но чувствовал

себя опустошённым и слегка потерянным.

К тому же я потерял её след; матушка моя умерла, а братья разъехались кто куда, а с ними исчезла и всякая возможность отыскать её. Меня непреодолимо влекло в тишину Сада: мне было совершенно ясно, что тщетно искать её где-то ещё, во внешнем мире, а вот если я стану приходить в Сад и смогу раскрыть секрет этого места, то обязательно снова встречу её там. И тогда я нашёл небольшое жильё неподалёку, где можно было читать и заниматься сочинительством, а по ночам стал наведываться в Сад. Часами я бродил по его дорожкам, сидел на деревянной скамеечке под чинарой или стоял у калитки, ожидая, не покажется ли она из-за поворота.

И вот как-то раз, когда я был погружён в молитву, обращенную к одной-единственной цели, то почувствовал, как сзади из темноты кто-то подошёл ко мне. Сердце моё забилося, глубочайшая благодарность за то, что молитва моя услышана, охватила меня, я обернулся и с надеждой поднял глаза. Но сверху на меня смотрело совсем другое лицо. Я пригляделся и, к своему удивлению, обнаружил, что прямо здесь, передо мной, наяву стоял величайший подвижник древнетибетского учения Великий Цонкапа. Он был точно таким, каким мы привыкли его видеть на многочисленных статуэтках-копиях, изготовленных более пятисот лет назад: ни красоты, ни доброты в облике. А ведь бесконечное сострадание и высочайшее учение могли бы уже оставить на этом лице свои благородные следы, которые мы обычно ожидаем или представляем. Вместо приветливой безмятежности — пронзительный взгляд строгих глаз на крошечной, с кулачок, лопухой голове, почти невидной из-за огромного носа, подобного ястребиному клюву. Но главное — это ощущение мощи, наполненной всепобеждающим состраданием, требовательным состраданием, состраданием, зовущим к действию.

— Да нет её здесь, — просто сказал он. — А лучше сказать, что ты видишь сейчас перед собой только меня, старого тибетца, но я могу тебе помочь в твоих поисках, должен даже: ведь ты и так потратил впустую прожитые тобой годы, а если не усвоишь, как следует, уроки этого Сада, то и остаток твоей жизни — псу под хвост.

— Это я-то потратил жизнь впустую? — возмутился я. — Да я в Императорской академии учился, я научную степень там защитил с отличием! Да таких, как я, у нас — один на миллион, да никто ещё таких успехов никогда не добивался!

— И все же я опять скажу: ты зря прожил эти годы. Вот чего стоит, что даёт тебе эта бумажка для подтирки — диплом Императорской академии?

— Ну как же? Я могу стать преуспевающим адвокатом, или доктором, или добиться высот в любой другой всеми уважаемой профессии и достичь преуспеяния в ней, преуспеть то есть.

— Преуспеть? — переспросил он вызывающе, стянул меня со скамейки и поставил перед собой. Когда я увидел, какого он маленького роста, то почувствовал себя много уверенней, несмотря на его драчливую позу.

— Преуспеть, — ответил я, — это необязательно значит разбогатеть. Я знаю, что богатство не приносит счастья и не может быть единственной целью жизни, — мы проходили это на занятиях по философии. Я имею в виду некоторый достаток, благосостояние, которое делает человека и его семью материально независимыми.

— Обеспеченная семья, удобное уютное жилье, все накормлены, все довольны... И, по-твоему, этому стоит посвятить жизнь? Разве это не значит выбросить её на ветер?

— Конечно, нет, такая жизнь будет потрачена не зря, это хорошо прожитая, полноценная жизнь, в ней есть цель и смысл.

При слове «смысл» он вздрогнул. Несмотря на сумерки, я увидел, как он слегка побледнел и уставился на меня своими ястребиными глазами, казавшимися ещё более ястребиными из-за огромного носа и ястребиной же хватки, с которой он вцепился в мою руку.

— Хороший дом, хорошая жена, что ещё надо человеку, чтобы встретить старость! — подумал он, а вслух спросил: — Итак, ты считаешь, что провести эту жизнь в боли и страдании, не пошевелив и пальцем, чтобы избавиться от этой боли и страдания, — значит не потерять её впустую?

— Погоди, — смутился я. — Конечно, если бы в жизни были только боль и страдания, то ты прав. Но ведь жизнь прекрасна, в ней есть свои радости, хороший дом, хорошая жена, взаимная забота любящих людей, дружба добрых приятелей...

— Значит, тебе не больно, — сказал он и потащил меня за собой по лужайке куда-то в сторону северной стены, в которой была калитка. —

Так, значит, это не больно — сломать ногу, порезать руку или пережить смерть родителей?

Теперь уже вздрогнул я, вспомнив, как потерял свою собственную мать.

— Конечно, больно: всё, что ты перечислил, доставляет боль, да ведь жизнь-то состоит не из одной только боли; боль приходит и уходит, и это случается не каждый день и даже не каждый год, и едва ли можно найти такого человека, в жизни которого не было бы ничего, кроме боли, не было бы прекрасных минут и даже счастья.

— Счастья? Какого ещё счастья? — спросил тибетец.

— Как это какого? — снова изумился я. Да, этот настойчивый коротышка — Великий Цонкапа во плоти, — семенящий сбоку от меня, вовсе не тянул на великого философа. Я почувствовал разочарование не только в его внешности, но и в его вопросах. — Ну вот взять хоть счастье, которое доставляет ребёнок, радостный, здоровый, улыбающийся карапуз!

— Я правильно понял, что твоя идея счастья воплощена именно в этом — в личике весёлого малыша?

— Ну да, — ответил я. — Именно в этом весёлом личике. Кто будет оспаривать его красоту? Кто смог бы найти здесь боль или страдание?

Он резко остановился, развернулся и взглянул на меня со смешанным выражением гнева и жалости.

— Этот малыш... — заговорил он, — этот малыш... Разве ему не предстоит столкнуться с ужасными бедами? Разве ему не предстоит пережить смерть своих любимых родителей — отца и матери? Разве он не увидит катастрофы, войны, насилие и ненависть людей друг к другу? И если он проживёт долго, то разве не придётся ему смириться с утратой всего, что ему дорого, а в конце жизни превратиться в немощного беззубого седого старца? И разве этот прекрасный сегодня смех младенца не станет завтра предсмертным хрипом?

Я был ошеломлён его напором.

— Конечно-конечно, всё это весьма возможно...

— Возможно?! — Он почти кричал на меня своим пронзительным голосом. — Возможно?! А тебе не кажется, что всё это более чем возможно, а на деле практически неизбежно?

— Хорошо, пусть так. Любой младенец в детстве весел и счастлив, потом он видит все эти ужасы и становится хилым и беспомощным страдающим старцем.

— Так как же ты можешь говорить, что лицо этого ребёнка прекрасно? — продолжал наезжать на меня Цонкапа.

— Вот так и могу, — с полной уверенностью в своей правоте ответил я. Слова возражения хлынули потоком откуда-то изнутри, без напряжения, естественным образом. — Это ж очевидно: младенцу хорошо и весело *сейчас*, в данный момент, это *сегодня* он так прекрасен, когда, смеясь, смотрит на нас своими чудными глазёнками. И пусть потом он состарится, пусть он насмотрится ужасов этой сумасшедшей жизни, всё равно вот прямо сейчас, в дни его детства, он пока ещё радостен и красив,

— Так, значит, это приятно, — проговорил он уже мягче и как-то задумчиво, — приятно и совсем не больно, если медленно, но с нажимом водить языком по лезвию бритвы?

Этот яркий образ снова поразил меня — голым языком да по сверкающему лезвию, брр-р!

— Конечно, больно, ещё как больно! Порезаться ведь можно.

— А теперь представь, — продолжал он, — что бритва обильно смазана мёдом; представь, что она спрятана под слоем мёда так, что её не видно. И вот ты лижешь мёд, наслаждаясь его тёплым сладким вкусом, ещё не зная, что в нём бритва, и вдруг, лизнув в очередной раз, понимаешь, что разрезал себе язык.

— Это будет очень больно и вовсе не приятно. Трудно представить себе боль острее. Если лизать мёд, а при этом лизнуть лезвие бритвы и поранить язык, то это будет одна только боль.

— Итак, ты хочешь сказать, — заговорил тибетец таким уверенным голосом, который я слышал в Академии у своего однокашника во время игры в шахматы, хода за два до того, как тот ставил мне мат, — что лизать мёд — не удовольствие?

— Лизать мёд? — автоматически переспросил я. — Удовольствие.

— А лизать мёд, если в нём бритва, которая располосует тебе язык на ленточки, — удовольствие?

— Ну говорили же уже, что нет, не удовольствие. Сколько можно?

— Итак, если удовольствие неизбежно сопровождается безграничным страданием, то можно сказать, что это не удовольствие?

— Да! — с торжеством сказал я.

— Так-то вот! — торжествуя заключил он и показал мне лицо младенца: оно было прекрасно и радостно, на нём не было ничего, кроме страдания.

Глава 3



СОЗЕРЦАНИЕ. КАМАЛАШИЛА

Слова Учителя Цонкапы и, как мне сейчас представляется, смерть моей матушки сильно подействовали на меня. Не то чтобы я был подавлен или впал в отчаяние; внешне я жил обычной жизнью, продолжал свои научные исследования, занимался литературной деятельностью, обеспечивая себе вполне пристойный, хотя и скромный достаток.

Однако мысли о жизненных путях и смерти стали постоянными спутниками в моём сознании, из одного всегда следовало другое.

Да, моя мать прожила хорошую и плодотворную жизнь; вырастила детей, много сделала для страны, всегда и без всяких раздумий шла навстречу нуждам людей, помогая не только своим, но и чужим. Но зачем всё это было нужно, если она всё равно состарилась и умерла в страшных муках от рака, если всё, ради чего она жила: её сыновья, её дом, плоды её труда — тоже рассыплется в прах и будет позабыто совсем скоро после того, как позабудут её саму? Пример её жизни был доказательством тех слов, что сказал мне в Саду Цонкапа: даже то, что кажется или считается хорошим и красивым, таковым на деле не является, если неизбежно должно закончиться болью и смертью. Мне вообще казалось, что Цонкапа появился там благодаря моей матери, ведь он пришёл в Сад, уже зная мои проблемы и имея ответы на мои вопросы.

Смерть и пути этой жизни определяли мои мысли в течение нескольких месяцев, и, в конце концов, я был вынужден искать уединения в небольшом скиту недалеко от нашего степного городка. Там оказался добрый, праведный и образованный настоятель, который приветливо принял меня, отвёл мне для жилья маленькую тихую келью и закрепил за мной должность помощника хранителя богатого книжного собрания в усадьбе одного помещика неподалёку. Я проводил много времени за изучением священных текстов, ещё больше — в мыслях о жизненных путях и смерти, пока наконец не почувствовал, что ответ на мои вопросы существует и что я смогу его отыскать. Я всей душой устремился на поиски этого ответа, этого истинного Пути. Меня снова

потянуло назад, в Сад. И вот я опять оказался там в ранние сумерки, в то время года, в самом начале весны, когда в воздухе разливается сладковатый запах первоцвета, степь начинает зеленеть робкой травкой, а за каменной оградой моего любимого Сада одеваются нежной листвой розовые кусты. Я снова хотел встретить её там.

На этот раз ждать пришлось недолго, да и разочарование не заставило себя ждать: я почувствовал, что кто-то идёт ко мне в темноте от калитки, но это были совсем не её шаги. Это была не летящая походка юной богини, а мерная, но вместе с тем бодрая и деловитая поступь, вдобавок ко всему весьма тяжёлая. Я обернулся и увидел великого Мастера медитации Камалашилу.

Он не имел ничего общего с тем образом, который мы привыкли рисовать в своём воображении; я ожидал разглядеть в его лице и теле суровую внешность аскета: попробуй-ка час за часом неподвижно сидеть в глубоком созерцании на краю каменной скалы где-то в Гималаях, да ещё и одиннадцать столетий назад. Но теперь я видел живого человека, а не плод своего воображения, и он был совсем не похож на этот плод. Он был среднего роста, его монашеские одежды были слишком высоко подоткнуты — почти до колен, что придавало ему несерьёзный вид — просто мальчуган какой-то. Его темнокожее индийское лицо тоже вполне соответствовало такому определению: полные щёки, всегда готовые расплыться в улыбке, смешной толстый нос, недобритые пучки седых волос на макушке, но самое главное — постоянно смеющиеся сверкающие глазки, вполне отражающие его собственное настроение.

— Ты хочешь найти Путь! — сказал он утвердительно.

— А то! — поспешно ответил я, потому что, узнав истинное страдание, наполняющее этот мир, не мог больше спокойно сидеть и дожидаться, когда спасение само свалится ко мне в руки.

— Ну и *почему нет-то?* — засмеялся он. — *Нет-то* почему?

— Я хочу узнать, почему умерла моя мать, — угрюмо промолвил я, — хочу знать, мог ли я хоть как-то ей помочь, а может быть, и сейчас ещё смогу сделать что-нибудь для неё. А ещё я хочу понять, неужели всё должно происходить так, как происходит всегда.

— Да! Да! — прокричал в ответ Камалашила. — Ещё как сможешь! *Почему нет-то?* Тебе надо уже научиться созерцать!

С этими словами он плюхнулся на траву около чинары, помнящей так

много нежных ночей, проведённых с ней под этим покровом.

Жестом он пригласил меня сесть рядом с ним. Я немного занимался медитацией с друзьями по Академии, кое-что об этом читал, так что, недолго думая, уселся на землю, выпрямил спину, сложил ноги крест-накрест, закрыл глаза и постарался вообще больше ни о чём не думать. Индеец хихикнул и звонко хлопнул меня по спине.

— Не спи, замёрзнешь! *Ты что же это такое делаешь!* — весело спросил он.

— Созерцаю! — гордо ответил я.

— А вот стометровку ты побежал бы без разминки? — снова радостно обратился он ко мне.

— Ну уж нет.

— Вот и давай уже сделаем *разминку!* — засмеялся мой наставник и вскочил на ноги.

— Разминку? Это как? — сварливо переспросил я, нехотя поднимаясь и представляя себе всякие там отжимания, приседания, растяжки и прочие неприятные вещи.

Первый раз Камалашила взглянул на меня чуток поостроже.

— Все хотят созерцать! Никто не знает — как! *Приступаем к правильной разминке!* — приказал он.

— Да что за разминка-то такая?

— Начнём с *уборки!* — крикнул он и забегал вокруг газончика, ловко нагибаясь, несмотря на кругленький животик, и поднимая редкие опавшие листья и ветви. Вскоре поверхность газона стала чистой и гладкой. Она так и сияла в лунном свете, как бы приглашая сесть посозерцать. — Вот так и в комнате своей прибирай, ладно?

— Уговорил, — ответил я, усаживаясь.

— Не забудь про *подношения!* — завопил он.

— Какие ещё подношения? — поинтересовался я.

— *К нам идут очень важные гости!* — хихикнул в ответ Камалашила.

— К их приходу надо подготовить соответствующие подарки!

Я с сомнением покосился на калитку Сада, ожидая, что оттуда прибежит целая толпа развесёлых практиков медитации вроде его

самого, и, никого не увидев, переспросил:

— Кто-то к нам идёт?

— Не беспокойся, *тебе* их не увидеть! — ответил индеец и, подойдя к деревянной скамейке, достал из-за пазухи мешочек с крошечными глиняными чашечками, которые он тут же начал выстраивать в ряд. Наполнив водой из фонтана три из них, он подошёл к кусту терновника, произнёс в его адрес что-то похожее на молитву или просьбу, после чего сорвал с его макушки цветок и поместил его в четвёртую чашечку.

В пятую чашечку пошли побеги шалфея и можжевельника, кусты которых росли вдоль ручья, вытекавшего из фонтана, а для шестой он собрал немного сухой травы. Сорвав плод с мандаринового дерева, Камалашила очистил его, положил несколько долек в седьмую чашечку, а остальное с удовольствием съел сам, не забыв сунуть одну дольку мне в руки. Всё это время он говорил не переставая.

— Представь, — продолжал индеец, жуя мандарин, — что некто очень важный возьмёт да и появится в этом Саду сегодня ночью, во время нашей практики. Может, это будет даже сама великая царица с золотыми волосами и в золотой короне... — Тут он лукаво подмигнул мне, как будто знал, почему моё сердце снова и снова приводит меня сюда, под сень чинары. — Ведь тебе же не захочется перед такими гостями упасть лицом в грязь? Ведь их надо встретить согласно законам степного гостеприимства!

— А кого ты ждёшь? Конкретно кого? — спросил я.

— *Следует* пригласить Просветлённых! — прыснул он. — Как можно созерцать, если их нет рядом? Как можно созерцать, пока не приведёшь сюда, хотя бы мысленно, своего Коренного Учителя?

Эти последние слова — Коренной Учитель — глубоко поразили меня, отозвавшись сердечной болью в моей груди, ибо я понял, что не могу представить себе иного «Коренного Учителя», чем моя золотая госпожа.

— Ну вот, — продолжал меж тем Камалашила, склонившись над чашечками, — расставим их как подобает. Первая чашка с водой у нас будет хрустальным бокалом с прекрасным напитком, подходящим для чествования высокого гостя. Ещё одна чашка с водой. — Он двигал чашками, как ловкий напёрсточник на базаре. — Это будет тазик с тёплой водой из минеральных источников, подходящий для омывания ног дорогого гостя, утомлённых долгим странствием. В третьей —

цветок. Кто ж не любит цветов! — Камалашила глубоко вдохнул запах раскрывшегося бутона. — Потом благовония. — И с этими словами мой наставник поджжёт ароматные веточки можжевельника и шалфея, чиркнув огнём, которое он проворно вытащил из бездонных складок своей хламиды.

— Тебе не надоело всегда таскать с собой все эти штуки? — хмуро спросил я.

Камалашила медленно повернулся и взглянул мне в лицо. На этот раз он был сама серьёзность.

— Хочешь встать на Путь? Должен созерцать! Хочешь созерцать? Должен делать *разминку*! Не надоело! Таскаю, да. Всегда и везде. И созерцаю... всегда и везде!

В его умелых руках от тлеющих ароматных угольков загорелась сухая трава в следующей чашечке.

— Зажечь светильник в честь прихода гостя — первое дело! Так, теперь ставим в ряд эту чашечку с водой; тут у нас будет благовонная мазь для натирания тела гостя — напряги уже своё воображение и получи удовольствие: думаю, найдётся кое-кто, кому ты с большой радостью поднесёшь именно этот ароматный дар. — Он покосился на меня как-то странно, удивительно напомнив мне кого-то очень знакомого. Наконец последняя чашка в этом ряду. Сюда мы кладем дольку мандарина. Это — подношение еды нашему благородному гостю.

«Интересно, когда же мы начнём медитировать, да и начнём ли вообще», — подумалось мне.

Он почувствовал, а может, и прочитал мои мысли, потому что сказал с раздражением:

— Необходимо затратить на это время. Необходимо правильно поднести дары.

— А что, они действительно принимают эти подношения? — спросил я.

— Да нет, конечно, — ответил индеец. — Ты думаешь, они, эти Просветлённые, нуждаются в еде, чтобы насытиться, или в воде, чтобы утолить жажду?

— Ну а раз нет, — резонно ответил я, — то к чему весь этот балаган? Я-то думал, мы собираемся созерцать.

— Хочешь быстро бегать? Научись *разминаться*! Не сможешь созерцать, если здесь не будет Просветлённых, не сможешь созерцать, если здесь не будет твоего Коренного Учителя, не будет его помощи, его благословения, его поддержки. Поднося дары, ты сам себе напоминаешь, что хочешь, чтобы все они были с тобой: «Пожалуйста, придите, побудьте со мной немного, пока я созерцаю».

И вдруг совершенно неожиданно Камалашила задрал голову и завёл благозвучную песнь, скорее даже молитву. Его лицо приняло ангельское выражение, глаза были закрыты, но, казалось, видели там, в наполненном звёздами небе над нами, кого-то из тех, кому предназначалось это подношение.

Он замолчал, опустил голову и весело взглянул на меня.

— Это последний дар, моё любимое подношение, — всегда услаждай их слух музыкой, прежде чем сядешь созерцать.

— Ну теперь-то мы наконец сядем? — спросил я, всё же слегка сбавив тон, потому что нельзя было не восхититься красотой того места для созерцания, которое только что создал в Саду Камалашила, нельзя было не почувствовать то благоговение, добро и уверенность, которые он зародил в моём сердце, да и песня была к месту. Разминка явно удалась, пора было переходить к созерцанию.

— Да *почему нет-то*? Пора садиться! — провозгласил он. Я начал было усаживаться, как вдруг почувствовал, что его рука снова поднимает меня на ноги.

— Ну что опять не слава богу?

— А поклониться? — удивился Мастер, как будто это само собой разумеется. С этими словами он сложил ладони у груди и поклонился с величайшим почтением, как будто перед ним и правда стоял один из великих Просветлённых. Потом медленно опустился на газон.

Я повторил требуемое упражнение и тоже уселся было на траву, но тут он опять вскочил на ноги и запрыгал вокруг меня, как резиновый мячик. К тому времени он уже так достал меня, что я думал только о том, как много времени мы потеряли, и, не обращая внимания на его прыжки, сердито уставился куда-то вдаль.

— Где твоё сиденье? У тебя что, нет подушки для медитаций? Спина ведь должна быть приподнята! — Он схватил меня за плечо, потянул

вперёд и засунул мне под копчик комок какого-то тряпья, которое чудесным — а каким же ещё? — образом появилось из-под его монашеской одежды.

В следующий момент он уже хватал меня за лодыжку левой ноги, крича:

— Положи пятку на правое бедро! Сядь ровно! — И шлепками ладоней выпрямляя мне спину. — Опустить правое плечо вниз, оно должно быть на одном уровне с левым. — А так он выравнивал мои плечи. — Голову ровно! И чему тебя только в Академии учили?

Я уже был готов придушить этого жизнерадостного великого магистра.

— Не наклоняй её вниз, не задирай её вверх, просто держи ровно, и перестань уже заваливать её влево! — Его руки лежали у меня на висках, словно зажав мою голову в тиски. — Где твой язык?

— Язык во рту, где ж ему ещё быть? — сострил я. Индеец, казалось, шуточки не услышал, во всяком случае не засмеялся.

— Легко коснись им нёба сразу над передними зубами. Челюсти расслабь, всё должно быть естественно, как обычно, — с энтузиазмом продолжал он. — Мы ведь не сможем созерцать, если всю ночь будем пускать слюни и сглатывать их, верно? *И перестань уже дышать ртом!* А то во рту у тебя пересохнет! — Наконец он привёл мою позу в полный порядок, после чего, должен признаться, я почувствовал себя совсем неплохо.

— А разве я не должен скрестить обе ноги, положив пятки на бёдра, как на всех этих ваших картинках? — спросил я.

— Хочешь сесть в «полный лотос»? Было бы неплохо, но сразу это вряд ли получится, вот когда ты попрактикуешь побольше... Ну и потом, здесь ведь что главное? Главное, чтобы тебе удобно было. Чтобы ты мог концентрировать ум, не отвлекаясь на боль в коленях. Если хочешь, мы вообще можем сесть вон на ту скамейку. — С этими словами он уселся рядом со мной, сразу одним ловким движением приняв позу полного лотоса.

Я закрыл глаза и вошёл в состояние покоя. Здесь, в этом тихом Саду, здесь, в Саду моей златовласой богини, я наконец... снова услышал его жизнерадостный голос.

— Спокойной ночи! Ты зачем глаза-то закрыл, а?! — прямо мне на ухо гаркнул этот... великий Мастер медитации.

Я открыл глаза и сфокусировал взор на каменном узоре стены, что была прямо перед нами.

— Ну вы, ребята, даёте! Вы вообще чем тут созерцаете — умом или глазами? — спросил надоедливый Мастер.

Я злобно взглянул на него:

— Давай уже разберёмся раз и навсегда: с закрытыми нельзя, с открытыми нельзя, с какими же тогда можно?

— Учись, студент, — ответил он и сел, держа голову прямо. Его глаза были наполовину прикрыты, а взгляд направлен вперёд и слегка вниз. Я понял, что всё дело было именно в том, что этот взгляд ни на чём не фокусировался, как будто Мастер был погружён в мечтательную задумчивость. — Если будешь слишком сильно отвлекаться, то глаза лучше закрыть, но помни, что твой ум привык засыпать именно в таком их положении, поэтому так созерцать очень непросто. Постарайся всё же не открывать глаза слишком широко, иначе начнёшь таращиться вокруг, считать ворон и всё такое. И позаботься о том, чтобы перед тобой была простая стена, или ткань в один цвет без узоров, или что-нибудь ещё в этом роде, чтобы ничего не двигалось и чтобы взгляду не за что было зацепиться, — короче, чтобы ум ни на что не отвлекался.

Я сделал всё, как он сказал, и почувствовал, как мой ум входит в чистое состояние концентрации. Я совсем уже приготовился очистить ум от мыслей, сделать его пустым...

Однако Камалашила уже снова был на ногах и бегал взад-вперёд. Надежда когда-нибудь посозерцать с этим величайшим Мастером медитации окончательно покинула меня.

— Ну что ещё тебе надобно, старче? — Я все ещё пытался шутить.

— Что это? Ты ничего не слышишь? — спросил он тревожным голосом.

Я снова прикрыл глаза и прислушался, но ничего не было слышно, кроме такого знакомого робкого журчания фонтана.

— Это всего лишь фонтан, вон там, у стены, — ответил я.

— Я пошёл! — воскликнул он, наклонился над скамьёй и принялся

собирать чашечки.

— Что?! — вскочил я на ноги. — Потратить столько времени на подготовку, а теперь просто взять и уйти? Останься хоть на пару минут, дай мне посозерцать рядом с тобой, раз уж пришёл!

— Невозможно, — заявил он. — Шумно, слишком шумно. Не годится для созерцания. И как это я раньше не заметил? Невозможно созерцать под этот грохот. — Он указал на раздражавший его фонтан.

— Да не так уж он и шумит, — сказал я. — Давай хоть попробуем.

Камалашила серьёзно посмотрел на меня:

— Ты просил меня показать тебе Путь. Я сказал, что без созерцания нет и Пути. Теперь выбор за тобой: либо милый твоему сердцу фонтанчик, либо медитация. Либо твоя нынешняя жизнь, ведущая в никуда, своей бессмысленностью повторяющая жизнь твоей матери, либо Свобода. Свобода или фонтанчик! Ты теперь всегда будешь стоять перед таким выбором. Ну и стой, а я пошёл.

В отчаянии я посмотрел вокруг и вдруг увидел кирпичи, из которых был выложен поребрик вокруг ствола чинары. Я быстро схватил один из них и накрыл им отверстие фонтана. Вода остановилась.

— Ну пожалуйста, давай уже теперь созерцать вместе! — смиренно попросил я.

— А почему нет-то? — хихикнул Мастер. И мы оба умиротворённо уселись на траве, собираясь обрести ещё большее спокойствие.

И вот прямо на моих глазах этот жизнерадостный коротышка совершенно преобразился. Левая рука легла ладонью вверх, на неё опустилась правая. Большие пальцы, слегка приподнятые над ладонями, соприкоснулись. Его сияющее лицо мгновенно изменилось, теперь оно выражало самую серьёзность, было полностью расслабленным и умиротворённым. Оно излучало покой, который, казалось, вобрал в себя весь Сад, превратив его в обитель абсолютной тишины. Это был тот покой, которого я жаждал, тот покой, которого моя суетная жизнь никогда мне не позволяла испытать, поэтому я с готовностью уселся рядом с Мастером.

Однако безмолвия его хватило ненадолго — всего на несколько секунд. Вскоре он зашептал:

— А мы уже говорили с тобой о *разминке*?

— Говорили-говорили. — Я старался не говорить громче, всё ещё надеясь, что он снова вернётся к созерцанию. — И не только говорили, но и проделали её, забыл?

— Да я не про *ту* разминку, — прошептал он в ответ, — я про совсем *другую*.

— Что ты имеешь в виду? — испуганно спросил я, ожидая, что он вот-вот вскочит на ноги и снова весело запрыгает вокруг. Однако Мастер продолжал сидеть и оставался серьёзным, на этот раз наставляя меня лишь словами.

— Прежде чем ты войдёшь со мной в состояние истинного созерцания, ты должен приготовить свои мысли. Иначе отстанешь и заблудишься.

— Научи меня, Мастер.

— Сперва научись внимательно следить за дыханием. Посмотрим, сумеешь ли ты сделать хотя бы десять вдохов, не отвлекаясь умом. Запомни, одним вдохом здесь считается цикл выдох-вдох, а не наоборот, как ты привык. Так вот попробуй досчитать до десяти вдохов; поначалу ты не сможешь так долго удерживать свой ум, обязательно начнёшь считать ворон, а не вдохи.

Я попробовал и сразу понял, что он прав. Мне и до четырёх-то не удавалось сосчитать, как мои мысли разбегались по Саду, летели к ней...

— Довольно, — прошептал он через несколько минут. — Сущность этой дыхательной практики состоит всего лишь в том, чтобы успокоить твой ум, осторожно вытащить его из вихря твоих суетных мыслей и начать сосредоточивать его внутри. Подсчёт вдохов — это не самоцель и не путь к освобождению. Теперь вспомни, зачем ты здесь: ты ищешь Путь; насколько мне известно, ты хочешь найти ответы на вопросы о смерти одной замечательной женщины и о той мудрости, с которой тебя познакомила другая. Ты должен понять прямо здесь и сейчас, что больше нигде нельзя получить ответы на эти вопросы, да их никто, по сути-то, больше нигде и не задаёт. Дети спрашивают, почему хорошие люди должны страдать и умирать, а взрослые учат их не задавать больше глупых вопросов, потом эти дети сами вырастают и говорят уже своим детям: «На эти вопросы нет ответов». Чётко определись, зачем ты будешь созерцать со мной. Не сходя с этого места, прими решение, что будешь созерцать ради настоящей цели, ради высшей цели, что будешь

искать эти ответы на Пути. Не стремись к другим, меньшим целям: не трать свою жизнь попусту, не теряй даже тех нескольких минут, что мы проведём здесь вместе.

Я обдумал его слова и понял их истинность, почувствовал радость и правоту в таком созерцании ради великой цели.

— А сейчас, прежде чем мы начнём созерцать, пригласи Просветлённых; пригласи своего Коренного Учителя, представь, что все они пришли сюда для помощи и водительства.

Ты пока не можешь их увидеть, но — какие твои годы! — потом обязательно увидишь. Если они вообще есть, если они те, за кого мы их принимаем, то они обязательно услышат твой мысленный призыв и *непрерывно* придут. А теперь обратись к ним со всей искренностью, с глубоким почтением пригласи их, и они *непрерывно* придут.

Я сделал всё, как он велел, и мне показалось, что я чувствую её присутствие совсем рядом со мной. Сердце моё радостно и преданно забилося в груди.

— Мы уже поклонились Просветлённым, перед тем как сесть; теперь поклонимся ещё раз, мысленно. Но знаешь, в тот день, когда ты сам увидишь их *наяву*, ты будешь кланяться по-настоящему: никакая сила не удержит тебя в позе лотоса — ты припадёшь к их ногам в благоговейном трепете и безмерном счастье.

Я снова сделал всё, как он сказал, и это снова оказалось тем, что нужно.

— Неплохо, неплохо, продолжай в том же духе. Многие люди в этом мире искренне желают приобщиться к медитации, но обнаруживают, что им не удаётся достичь глубин и высот созерцания, потому что они не узнали, как войти в его врата. Этим сейчас и займёмся. Итак, представь себе всё небо целиком.

Я так и сделал, представив себе распахнутый лазурный купол над моим степным селением.

— А теперь целиком наполни его благоухающими красными и белыми розами, поднеси их своему Коренному Учителю и Просветлённым и почтительно попроси их помощи.

Я продолжал выполнять его указания, и опять всё вышло очень здорово: я почувствовал, что мой ум теперь гораздо ближе к глубокой

медитации, хотя мы ещё толком и не созерцали.

— Но и это ещё не всё. Теперь давай очистим твою совесть, ибо никто не может созерцать, если совесть его нечиста. Вот ещё, кстати, почему многие считают, что созерцать очень трудно, вот почему редко кто достигает глубин медитации и видит их чудеса. Твоё сердце должно быть чистым, твоя жизнь должна быть чистой. Вспомни о том, что ты сделал, или о том, что ты сказал, или даже о том, что ты всего лишь помыслил с намерением навредить другому; сознайся себе в этом, будь предельно честным перед самим собой. Скажи себе: да, я это сделал; да, это не было добродетельным поступком, словом или мыслью; клянусь, что приложу все силы, чтобы такого больше не повторилось. Одна только эта очистка твоей совести и твоего сердца откроет твоему уму такие двери к созерцанию, о которых ты раньше и мечтать не смел.

Я тихо сидел и размышлял. Особо страшных преступлений не обнаружил, но вот мелких ежедневных пакостей и неприятностей, которые я доставил другим, — сколько угодно. Решительно и бесповоротно я вымел их из своего сердца.

— Неплохо, неплохо. Дальше — больше. А сейчас повеселимся! — радостно зашептал он. — Ещё несколько необходимых шагов. Теперь сделаем наоборот: ты будешь думать о том, какие добрые дела ты делаешь ради окружающих людей, какие добрые слова говоришь им, вспоминать, какие добрые и непорочные мысли возникали и продолжают возникать в твоём уме. О, кстати, не забудь и о всяческих благодеяниях всех остальных людей, начиная с твоего Коренного Учителя, после чего... да просто развеселись, почувствуй себя счастливым, порадуйся всему, что хорошо, всему, что есть добро.

Я воспроизвёл это наставление, и оно отлично дополнило предыдущую очистку совести. Мой ум, казалось, почти разрывался от доброй энергии; я рвался созерцать подобно разгорячённому коню, готовому пуститься вскачь и грызущему удила.

— А теперь обратись к своему Коренному Учителю и Просветлённым с просьбой о духовном водительстве. А ещё попроси, чтобы они продолжали представлять перед тобой всеми теми способами, которые имеются в распоряжении Просветлённых существ. Ты и представить себе не можешь всех тех путей и всех тех мест, где они тебе могут явиться. Пригласи их являться в виде твоих Учителей — но не только тех, которые выглядят как Учителя, но и в виде обычных мирских людей

вокруг тебя — и учить тебя, всегда учить тебя, направляя и ведя по Пути.

С глубоким благоговением, которое сразу привело меня в состояние созерцания, я исполнил сказанное.

— Ну и, наконец, ты должен взмолиться от всего сердца, заклиная их всегда оставаться рядом с тобой, зримо или незримо, поддерживая тебя и наставляя.

И это я повторил вслед за наставником, и от благодати этих мыслей вошёл в состояние глубокого созерцания, в полный покой. Чего, конечно, никак не мог вытерпеть великий Мастер всеобъемлющей умиротворённости Камалашила.

— Ну и как тебе покой? Здорово, правда? — спросил он шёпотом.

— О... да... — Слова давались мне с трудом.

— И над чем же ты теперь медитируешь? — снова зашептал он.

— Я освободил свой ум и стараюсь не думать, а когда приходят мысли, то я просто наблюдаю, как они уходят.

Его тяжёлое маленькое тело одним скачком преодолело расстояние между нами, и вот он уже снова кричал мне в лицо, на этот раз рассерженный не на шутку:

— Дураки! Ваша глупость бессмертна! Кретины, которых я разбил в пух и прах на философских диспутах более тысячи лет назад, оказывается, и сейчас живее всех живых! Ухожу! Ухожу в монастырь! — С этими словами он снова склонился над скамьёй, собирая священные чашечки.

— Постой! — вскочил я. — Что я не так делаю? Да растолкуй же мне, что я делаю не так!

Глубоко и тяжело дыша, Учитель сел на травку передо мной, скрестил ноги и близко наклонился ко мне, почти касаясь моего лица. Затем взор его смягчился, и он спросил почти нежно:

— Ты хочешь помочь своей матери?

— Конечно, — ответил я. — Ты же знаешь, зачем я пустился в Путь.

— Тогда подумай сам — что пользы в том, чтобы просто сидеть, сохраняя свой ум в пустоте в течение часа? Разве животные, разные там хомячки-кролики, не тем же заняты? Разве пьянчуги, что валяются под

столом после очередного стакана пошла, не тем же заняты? Разве их ум не пуст и спокоен, пусть и не очень долго? Подумай уже об этом, а заодно скажи мне, зачем мы, по-твоему, созерцаем?

— Мы созерцаем, потому что ищем истину, а истина заключается в созерцании покоя.

— Верно. Только наполовину. Медитация — это не цель, а средство, инструмент. Это топор, очень острый топор, которым мы рубим дерево. Рубка дерева — это мудрость, высшая мудрость, самая сущность Пути. А вот созерцание ради созерцания — это то же самое, что пустить топориче на растопку, вместо того чтобы с его помощью нарубить дров. Какова цель Пути?

— Я надеюсь отыскать ответы на вопросы, почему моя мать умерла так мучительно, почему она вообще умерла, почему все мы — и хорошие, и плохие — страдаем и умираем; почему вся эта жизнь, труд всей жизни, плоды этого труда, обращаются в прах и боль. Вот в чём цель Пути для меня.

— Всё правильно, так и должно быть. Ну и что, ты вправду думаешь, что если сможешь сидеть здесь часами, днями или месяцами, созерцая пустоту своего ума, то найдешь ответы на эти вопросы? Ты думаешь, что так ты освободишься от болезней, от утрат дорогих тебе вещей и близких людей? Ты думаешь, что освободишься от самого старения или удержишь энергию тела и ума, покидающую тебя день ото дня, — одним словом, ты думаешь, что не умрёшь?

— Думаю, что ты прав: думаю, что даже если я смогу усидеть здесь, освобождая свой ум до пустоты, сохраняя спокойствие и безмятежность в течение длительного времени, стойко снося жару и холод, дожди и зной, то всё равно я когда-нибудь заболею, неизбежно состарюсь, не смогу больше сидеть здесь и наконец умру.

— Ну а раз так, пожалуйста, — настойчиво прошептал он мне, — пожалуйста, послушай меня хорошенько, и ты научишься истинному созерцанию, научишься использовать его для наших конкретных целей.

Камалашила снова уселся рядом со мной, но на сей раз он устраивался с такой основательностью, что мне показалось, что больше он уже никогда не вскочит.

— Есть три способа созерцания, — начал он, не покидая свою медитационную позу. — Начнём с первого. Мысленно представь себе

образ твоего Коренного Учителя.

Это было легко сделать и легко удержать: видеть её — пусть даже всего лишь внутренним взором — всегда было для меня и отдыхом, и утешением.

— Первым врагом созерцания, — снова зашептал он, — является некая разновидность лени: иногда просто нет настроения созерцать. Поэтому будет очень неплохо — и мы это проделали — напомнить себе о неотложной и священной необходимости нашей медитации. А ещё очень неплохо, — тут он хихикнул, — выбрать такой объект для созерцания, чтобы он был не только важным для практикующего, но и доставлял ему радость. Думаю, сегодня ночью ты лениться не будешь. Теперь время от времени, — продолжал мой наставник, — я буду щёлкать пальцами. Я хочу, чтобы ты внимательно отслеживал состояние своего ума и сообщал мне, где он пребывает в тот самый момент, когда раздастся щелчок. Таким способом я покажу тебе других врагов созерцания и научу, как их побеждать.

Я сосредоточил свой ум на её прелестном образе, что привело меня к мыслям об этом Саде, а это, в свою очередь, заставило думать о том, что уже, наверное, поздно, я вряд ли высплусь и едва ли буду в состоянии как следует работать в библиотеке... *щёлк!*

— Где был твой ум? — спросил Камалашила.

— Я упустил мысленный образ и стал думать о работе, — удручённо ответил я.

— Это второй враг, — сказал он, — утрата мысленного образа. Чтобы победить его, ты должен так привыкнуть к образу, воспроизводя его в памяти как можно чаще, постоянно от созерцания к созерцанию, причём само созерцание должно быть кратким, но выполняться регулярно и часто, в течение всего дня, так, чтобы ты всегда помнил объект, не выпуская его из памяти. А теперь вернёмся к образу.

Я снова представил её прелестный образ, и на этот раз мне удалось удерживать его несколько лучше. Моё тело было неподвижным, и Сад был неподвижен. Медитация шла своим чередом. Я совершенно освоился, чувствуя себя всё уверенней и спокойней. Дыхание стало медленным, тело неподвижным, и она оставалась со мной в виде туманного золотого света... *щёлк!*

— Как там наш образ? — спросил Мастер шёпотом.

— Неплохо, неплохо, — ответил я. — И сам я спокоен, и тело расслабленно.

— Да нет же, — строго переспросил он, — что с *образом*?

— А, образ? — сказал я. — Всё отлично, стабильно, правда, слегка размыто...

— Я так и думал, — проговорил он слегка резковато. — Твоё созерцание попало на удочку притуплённости сознания. Это страшный враг, потому что он почти невидим. В своей крайней форме его различить легче: чувствуешь сонливость, начинаешь клевать носом. А вот когда он принимает тонкое обличье, то буквально становится ядом; он начинает лгать тебе, расписывая, как здорово проходит созерцание, хотя на самом деле ты всего лишь пребываешь в разновидности ступора — многие практики медитации вот так даром потратили лучшие годы своей жизни.

— Как же мне быть? — спросил я.

— Выдели особую область своего ума — мы называем её *бдительностью*. Научи её распознавать этого врага, расскажи ей, как тот выглядит, каковы знаки его приближения, но, самое главное, прикажи поднимать тревогу всякий раз, когда в твоём уме будет появляться скука, притупляющая созерцание. А засим вернёмся к её образу.

Я невольно вздрогнул — откуда он знает об объекте моей медитации? — но быстро взял себя в руки. И снова перед моим внутренним взором был её портрет, я стал размышлять о её красоте, вспоминать те многочисленные уроки духовности, которые она преподавала мне в этом Саду. Особенно ярко мне привиделась та ночь, когда она, одетая только ветром и своими золотыми волосами, так невинно подошла к ручью, вытекавшему из фонтана, и без колебаний ступила в его воды... Воспоминания мои были совершенно лишены грубости или непристойности, вожделения или злого умысла, я просто пребывал в единстве с... *щёлк!*

— Где был твой ум? — снова вопрошал меня Камалашила.

— В хороших мыслях, в благочестивых мыслях, — ответил я, наученный горьким опытом.

— Мысли-то, может, и хорошие, плохо, если они мешают твоей медитации. Ведь ты уже перешёл от созерцания образа к иным

воспоминаниям, попал в другое место и время — туда, где тебе нравится пребывать, разве нет?

Я признался, что так оно и было.

— Этот враг созерцания — умственное беспокойство, постоянное движение мыслей. Он приходит чаще других, и он очень могуч. Добавить тут нечего. Скажу только: бди! Не пропусти его приближение. И помни ещё, что у него, так же как и у притуплённости, есть свита. Это — пассивность, бездействие: неспособность выхватить меч, когда какой-то из этих врагов пересечёт границу твоей медитации.

Для борьбы с притуплённостью восприятия заставь себя вернуться к чёткости созерцания образа. Начни с общего плана, затем перейди к чертам лица, форме рук и так далее. Если притуплённость не проходит, переведи свой ум в высокое синее небо — очень яркое синее небо, умытое солнцем, — пусть твой ум станет этим небом; это освежит тебя, и ты сможешь вернуться к медитации. В крайнем случае встань, побрызгай в лицо холодной водой, ну а уж если и это не поможет, ляг поспи, и всё пройдет.

Для победы над беспокойством надо вновь мягко и осторожно собрать свои мысли в сердце. Добейся ещё большего безмолвия, оставайся в неподвижности ума и тела. Замедли дыхание, если надо, снова займись подсчётом вдохов, а затем возвращайся в созерцание. Медитация похожа на полёт огромных птиц высоко в небе; снизу кажется, что они скользят в воздухе без усилий. На самом деле их парение — это состояние непрерывной коррекции своего положения: они ловят восходящие потоки воздуха, меняя направление своего полёта, всякий раз, когда меняется ветер.

Так и в созерцании. Ты должен непрерывно наблюдать и настраивать медитацию, чтобы она была натянута, как гитарная струна: не слишком сильно и не слишком слабо. Тогда в конце концов после многих занятий практикой настанет такое время, когда твоё созерцание идёт как по маслу. Вот тогда приходит черёд следить за появлением последнего врага: это желание улучшить созерцание, когда никакого улучшения уже не требуется. Ну а теперь, следуя тому, что было сказано, снова созерцай картинку.

Я послушался и восстановил в памяти её образ, истинный образ. Я удерживал его чётко и спокойно, но не прошло и нескольких минут, как

послышались слова Камалашилы:

— Вот теперь хорошо. Переходим ко второму виду созерцания, который мы называем *решение проблем*. Я поставлю перед тобой задачу, а ты однонаправленно сосредоточишь на ней свой ум и попытаешься её решить. Это очень важная разновидность медитации, в будущем она ещё сослужит тебе добрую службу.

— Как скажешь.

— Сосредоточься на каком-нибудь случае в своей жизни, на чём-нибудь таком, что произошло неожиданно-негаданно, но изменило твою жизнь к лучшему.

Я стал припоминать и сразу же вспомнил про горшочек, который забыли в доме моей матушки в праздничный день — День благодарения, тот самый горшочек, который привёл меня к её дверям.

— А теперь давай поразмыслим, действительно ли это была случайность; откуда мы знаем, что это была случайность; можем ли мы быть уверенными, что это была случайность; а вдруг её кто-то подготовил; что могло бы заставить этого кого-то её организовать; каковы возможные мотивы, не важно мирские или возвышенно-духовные. Думай, размышляй, анализируй и, если можешь, делай выводы.

Я глубоко задумался. С точки зрения той роли, которую происшествие с горшочком сыграло в моей жизни, оно, несомненно, являлось очень важным для меня. Правда, мне всегда казалось, что это была простая случайность. Если же это не было случайностью, то я был бы более склонен считать, что меня просто хотели столь незатейливо познакомить с девицей на выданье, чем увидеть за этим событием того, кто мог бы заранее знать, что эта встреча станет для меня вступлением на духовный путь. С другой стороны, если Просветлённые существуют, если они действительно видят будущее так же ясно, как мы видим настоящее, то можно предположить...

Тут Камалашила прервал меня:

— Уже поздно. Потом предположишь, пусть это будет твоим домашним заданием. А мы сейчас изучим третий вид созерцания. Я хочу, чтобы ты шаг за шагом повторил и вспомнил всё, чему я научил тебя этой ночью, начиная с того момента, когда я начал очищать траву от опавших листьев. Очень тщательно просмотри в уме все стадии

разминки, подготовки места и твоего сердца к созерцанию; затем пройди по всем типам медитации и снова припомни всех её врагов, о которых мы говорили, и способы справиться с ними.

Напоследок посмотри, как надо правильно заканчивать созерцание. Представь камень, который бросили на середину пруда, и наблюдай круги на воде, медленно расходящиеся во все стороны. Вот так и эта ночь, которую мы провели здесь с тобой вместе — да и любая другая твоя медитация, — есть событие, священное событие, имеющее последствия, которых ты пока и представить себе не можешь; старайся помнить об этих кругах на воде, думай о них и молись, чтобы они как можно быстрее стали волнами помощи и счастья, которые коснутся каждого живого существа вокруг тебя.

Я начал повторять пройденный материал, как Камалашила велел, а сам он молча сидел рядом в каком-то своём глубоком созерцании. А потом я задал ему последний вопрос, который пришёл мне на ум в самом конце:

— А что должно быть объектом моей медитации, Учитель Камалашила, что именно я должен созерцать? Какой образ, проблема, требующая анализа, или пошаговый просмотр в моём уме смогут дать ответы на вопросы, о которых мы говорили в самом начале нашей встречи?

— Как всегда, начинай сначала, — ответил он. — Представь перед собой своего Коренного Учителя и добейся того, чтобы его образ был совершенно чётким, неотличимым от реального. И тогда попроси её о помощи, и если вера твоя будет крепка, то, может быть, — подмигнул Камалашила, — она и придет, чтобы дать тебе наставления.

Глава 4



ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ. ДХАРМАКИРТИ

Итак, я научился созерцать и начал регулярно — утром и вечером — посвящать этому своё время. Способность моего сознания к концентрации неуклонно росла, и мне удавалось всё большее время пребывать в спокойствии и внутреннем безмолвии. Поскольку я продолжал возвращаться к медитации в одни и те же часы, росло ощущение связности между занятиями: казалось, что конец одного перетекает в начало другого. В перерывах между созерцаниями, в делах моей обычной жизни, на которые уходило всё остальное время, явно возросло умение сосредоточиваться, чувствительность моего внимания чрезвычайно повысилась, я обрёл способность глубоко проникать в суть вещей и находить эффективные решения даже в обычных мирских делах.

Однако центром моих духовных усилий всегда оставалась одна и та же громадная проблема: почему простая хорошая женщина, моя мать, вынуждена страдать и умереть в мучениях? Что ж это за сила такая, что настигает каждую добрую и чистую вещь в мире — всякую радость, любовь и дружбу, любое достижение, духовный порыв — и со временем неизбежно разрушает её, превращает в боль, стирает с лица земли. Я чувствовал, что если бы мне удалось обнаружить эту силу — ведь какая-то причина должна лежать в основе старения и смерти всех явлений, — то, возможно, я и смог бы изменить эту причину, изменить её на первый взгляд неизбежные последствия.

Кроме того, несмотря на то, что годы шли, я просто по-человечески, по-сыновьи скучал по своей матери, часто думал о ней, гадал, продолжается ли хоть в какой-нибудь форме её существование, не заблудилась ли она, не нужна ли ей помощь, можно ли ей вообще хоть как-то помочь и как мне обо всём этом проведать. Меня снова потянуло в Сад, мне казалось, что с течением времени, с ростом моих внутренних достижений мне удастся найти там ответ на любой вопрос.

Я пришёл в это благословенное место, как всегда, глубокой ночью; пустыня была неподвижна, и только лёгкий ветерок разносил волнующие запахи: внутри Сада царило нежное благоухание сирени, посаженной и

выращенной человеком, а из-за ограды прилетал слабый, но зато заполняющий всё вокруг медовый аромат вереска, который никто и не думал ни сажать, ни выращивать.

Помедлив у ворот, где в прошлые времена мне так часто доводилось стоять, ожидая её, я вошёл в Сад. На этот раз мне пришлось на ум попробовать иной способ отыскать златовласку: призвать её в Сад внутренним усилием. Я подошёл к огромной чинаре, развесистый полог которой когда-то укрывал нас с ней от нескромных звёзд, и снова уселся на простую деревянную скамью.

Я наклонился вперёд, подпер голову руками и стал просто слушать её. Мне удалось прийти в состояние того спокойствия, которому научил меня Камалашила, и теперь между ударами пульса и звуками дыхания, за рокотом большого барабана моего сердца я просто вслушивался, как будто одним этим слушанием её можно было заставить вернуться сюда.

Мой ум пребывал в состоянии пустоты и безмолвия, настроенный на одну-единственную вещь — на звук её шагов, на манеру её ходьбы. Она ходила не как все, а в своём собственном ритме, всегда будто слегка пританцовывая на ходу. Вот этой танцующей походки я и ожидал, ожидал одного только этого звука, ведь глаза мои были закрыты. Ждать пришлось долго, и терпение уже начало было покидать меня...

Наконец какой-то шорох нарушил тишину моего ума, позади себя в темноте я услышал очень медленную, величавую и целеустремлённую поступь, принадлежащую столь же целеустремлённому человеку, который прошёл через калитку. Я обернулся, и в лунном сиянии увидел Учителя Дхармакирти.

На первый взгляд его лицо с грустными задумчивыми глазами и ласковой, почти печальной улыбкой выражало только доброту. Второе впечатление касалось его походки — ровной поступи благородного мужа, военной выправки, говорящей о решительности её обладателя. И наконец, вы обращали внимание на его строгость, суровость его прямого римского носа, могучую шею, но самое главное — на интеллект, праведность и бесстрашие, которыми пылали его глаза. Он молча стоял, глядявываясь в меня около минуты или чуть больше, и наконец сказал:

— Пойдём уже со мной, погуляем по Саду.

Я встал, мы свернули налево, мимо низенькой каменной часовни и пошли на юг, в сторону пальмовых аллей.

— Ты, кажется, о чём-то хотел поговорить? — спросил он, идя со мной под сенью деревьев Сада.

Мои мысли, как часто в последнее время, вращались вокруг смерти, смерти моей матери, вокруг размышлений о том, где она может быть теперь. Но если честно, между нами кроме этой озабоченности у меня была и другая: моя собственная смерть. Я с трудом мог себе это представить, гадая, что же со мной будет, когда я умру, и, самое главное, будет ли она со мной, будем ли мы после этого вместе.

— Правда ли то, что мы продолжаем жить после смерти, и то, что мы жили до того, как родились?

— Давай лучше я буду задавать тебе вопросы, отвечая на которые ты получишь ответы на свои, — сказал Дхармакирти таким голосом, в котором прозвучала забота о моих переживаниях, казалось, хорошо ему известных. Но я услышал в нём и другие, металлические нотки, которые привели меня к пониманию железной логики, лежащей в основе его слов, заставив вспомнить непобедимые стальные тиски его холодного разума, с помощью которого — ещё тринадцать столетий назад, живя в Индии, — он сокрушил ошибочные воззрения в умах тех, кто принял его вызов, вступив с ним в философский диспут.

— Как вам будет угодно.

— Из чего сделано тело?

— Ну, там кожа, кровь, твёрдые кости и жидкости, внутренние органы, кое-где волосы, чтобы кое-что прикрыть.

— Эти вещи материальны?

— Конечно, их можно потрогать и почувствовать, на них можно надавить, у них есть вес, они могут ломаться и распадаться на части; при большой необходимости, при хирургическом вмешательстве например, их даже вскрывают.

— А из чего сделан ум?

— Не думаю, что об уме можно сказать, что он из чего-то там сделан. Это, скорее, нечто такое заполненное — иногда в большей, иногда в меньшей степени — мыслями, желаниями и надеждами, к которым я прислушиваюсь, когда они проходят через то место, которым является мой ум. Или которое является моим умом.

— А вот эти мысли похожи на части твоего тела? Их можно увидеть,

потрогать или разрезать на куски?

— Если ты имеешь в виду, есть ли у них цвет, могут ли они быть твёрдыми или мягкими на ощупь, тёплыми или холодными, могут ли они ласкать мои руки, как морская волна, то я отвечу — нет, ничего похожего. Мысли невесомы, прозрачны и невидимы, как хрусталь в воде, как сам воздух, который несёт их постоянным потоком через всю мою жизнь.

— А у твоего ума есть такое его собственное место, где он пребывает? Вот твои руки и ноги занимают же вполне определённое место. А ум?

— Ну вообще-то говорят, что у него есть своё место в голове, под черепной коробкой, в том сером веществе, которое мы называем мозгом... — Голос мой прервался, потому что я почувствовал, как по его телу прошла судорога; он весь слегка задрожал и повернулся ко мне. Его глаза, пристально глядящие на меня, стали медленно загораться, как у дикого зверя, который спал, а теперь, на мою беду, проснулся.

— А ум, стало быть, располагается в мозге? — сурово спросил Дхармакирти.

— Да, по-моему, так оно и есть.

— А почему не в руке? — спросил он, резко схватив обеими руками моё запястье. Ну и силища!

— Ну, может, и в руке... — ответил я, теряя уверенность.

— Ты разве не чувствуешь мои пальцы? — Его хватка становилась всё сильнее.

— Ещё как чувствую!

— Значит, ты осознаёшь и чувствуешь рукой?

— Да-да, осознаю и чувствую, и вообще пусти, мне больно.

— Итак, твоё сознание распространяется и в руку?

— Да, — ответил я, начиная вновь обретать уверенность.

— Значит, и твой ум распространяется в руку?

— Ну да, мой ум, моё сознание распространяются по всему-всему телу, до самого края кожного покрова.

— Итак, мы можем сказать, что твой ум располагается повсеместно в пределах твоей кожи?

— Да-да, мы можем так сказать.

— А дальше, за эти пределы? — И снова в обращенных ко мне глазах сверкнула сталь.

— Нет-нет, дальше никак — я не могу чувствовать дальше кончиков своих пальцев. У меня нет сознания за пределами моего физического тела.

— Значит, ты и помыслить не можешь, о... об этой мягкой травке под чинарой у фонтана? — спросил он, заговорщически подмигнув, как будто знал, как часто я вспоминаю это ложе любви.

— Ну, конечно, могу.

— Итак, мы можем сказать, что ум распространяется и туда, за пределы кончиков твоих пальцев, по всему этому Саду?

— Да-да, мы можем так сказать.

— Значит, на самом деле наш ум — невыразимый и дальнобойный — может выходить далеко за пределы физического тела?

— Может.

— Кроме того, он сильно отличается от тела — может летать на огромные расстояния, может мыслить об иных мирах, расположенных намного дальше этих звёзд, что глядят сейчас на нас сверху. Так?

— Так.

— Да и вообще ум — эта хрустальная птица — не имеет почти ничего общего с телом. Он не ограничивается этой тугой плотью и костями, его нельзя потрогать, на него не наступить, его нельзя ни увидеть, ни разрезать, ни взвесить, ни ещё как-либо измерить. Правильно?

— Да, всё правильно.

— Так как же ты можешь говорить, что ум — это мозг, или что он ограничен мозгом, или что он располагается в мозгу, если он может летать, куда ему вздумается, в такие места, где его и найти потом никак нельзя?

Я почувствовал себя ещё более стеснённо и не в последнюю очередь оттого, что он уже не только полностью сдавил мою руку в своих сильных ладонях, но и всё крепче прижимал к своей груди, по мере того как усиливалась его аргументация.

— Я не говорил, что ум есть мозг, я говорил, что ум пребывает в мозге.

— То есть ум и мозг взаимосвязаны, причём ум пребывает где-то в районе мозга, а если точнее — вокруг всего тела?

— Да, так и есть.

— А ты согласен с тем, что если две вещи взаимосвязаны, то это означает, что это разные, обособленные вещи?

— Точно так. Если две вещи взаимосвязаны, то это непременно две разные вещи. Это не то что любой монах — любой послушник знает.

— Итак, несмотря на то что ум и тело, пусть и взаимосвязанные между собой, есть две полностью различные вещи, совершенно разные штуковины. Согласен?

— Согласен.

— А теперь позволь спросить тебя ещё кое-что, — сказал он, и его поза изменилась. Он продолжал сжимать мою руку, но слегка выставил левую ногу вперёд в мою сторону. Приходилось ожидать самых мощных доводов, ибо это была та самая — почти боксёрская — стойка участников философских дебатов в Древней Индии, приняв которую они обрушивали на оппонентов свои зубодробительные аргументы. Видимо, стоя боком к противнику, они инстинктивно пытались оставить ему меньше площади тела для ответных ударов.

— Как ты думаешь, тело изменяется?

— Ещё бы! Люди стареют, и тело стареет, лицо покрывается морщинами, мышцы теряют силу, волосы седеют и всё такое.

— А почему тело меняется?

— Ну, это прописные истины, это любой послушник знает. Причин много, но главная состоит в том, что меняются причины, обуславливающие тело. А раз меняются причины, то меняется и результат. Раз истощается энергия, которая произвела это тело, то и само тело изнашивается, во всяком случае должно изнашиваться.

— Значит, если некая вещь меняется, то это доказывает, что у неё была причина?

— Ага.

— А что служит причиной тела?

— У тела много причин, но меня учили, что главная — в родителях: это кровь и яйцеклетка матери и семя отца. Когда эти две причины объединяются и если ещё при этом наличествуют все остальные сопутствующие факторы, тогда тело начинает расти не по дням, а по часам, клеточка за клеточкой.

— Верно, материальные частицы твоего отца и твоей матери встречаются, и только тогда твоё тело начинает расти. Поэтому мы называем такую встречу *первичной* причиной — той вещью, которая запускает механизм роста твоего тела. Так, глина является такой же главной, или первичной, причиной для керамического кувшина. Но для кувшина и другие факторы — вторичные причины — должны присутствовать, — скажем, требуются руки и опыт горшечника, печь для обжига изделия и время в этой печи, чтобы глина запеклась. Но прежде всего — первичная причина, вот что ты должен понять! Какова первичная причина для дерева?

— Думаю, что семечко этого дерева.

— Правильно. А сопутствующие факторы?

— Почва, солнечный свет, вода и правильный уход. — Верно. Так что же отличает первичную причину от вторичных, или сопутствующих, факторов?

— Первичная причина — это то, что превращается в результат; та вещь, которая в подходящий момент меняет свою сущность, преобразаясь в результат. Примерами такой вещи могут служить семечко, которое в подходящий момент трансформируется в росток дерева, или глина, которая трансформируется в кувшин.

— А как ты думаешь, вот эта вещь — материал самой этой первичной причины — должна быть сходна с материалом или веществом результата?

— Думаю, да. В действительности у них должно быть очень много общего, они должны быть очень похожи друг на друга.

— Итак, мы с тобой подошли к главному, — говорил Учитель Дхармакирти, между тем ведя меня в самый тёмный уголок у высокой южной стены Сада, в густую тень пальм, сквозь которую не пробивался лунный свет. Мы с ней ни разу не решились сходить туда. — Закрой

глаза, — сказал он.

Я слегка улыбнулся — в этой крошечной тьме и так было хоть глаз коли, — но всё же выполнил его просьбу. Он разжал мою руку, по-прежнему не отпуская её, и приложил ладонью к своей груди. Его горящие как угли глаза закрылись, и я почувствовал, как он входит в созерцание. Казалось, он открыл некий канал или коридор из своего сердца прямо в мой ум, который проходил из его груди по моей руке, после чего заговорил снова:

— Мысленно растяни свой ум по всей длине своей жизни, представь его в виде кристально чистой реки из неведомого невидимого вещества, текущей сквозь дни, проведённые тобой в этой жизни.

В воздухе повисла тишина. Я начал представлять себе этот образ: постоянный поток взаимосвязанных мыслей, уходящий в самые первые воспоминания моей жизни.

— Вспомни, каким был твой ум сегодня днём, прежде чем ты пришёл в Сад.

Сказано — сделано.

— Какова была материальная причина твоего ума нынче днём? Что именно предшествовало первому моменту деятельности твоего ума нынче днём, а затем превратилось в твой ум, стало твоим умом?

Это было ясно как день — такой причиной был сам ум: мой собственный утренний ум предшествовал уму дневному. Вода в потоке моего ума днём была водой моего же ума утром, которая просто стекла ниже по течению. Я не успел ответить, но он и не ждал ответа. Он попросту читал мои мысли.

— Продолжим. Какова была материальная причина этого другого, утреннего ума?

И снова я взгляделся в свой ум и увидел, что такой причиной был вечерний и ночной ум прошлой ночи, вплоть до моего пробуждения.

— А откуда взялся ум этого года?

— Из ума прошлого года, ясное дело, тот же поток выше по течению.

— А прошлого года?

— Из позапрошлого.

— А откуда взялся ум всех этих предыдущих лет?

— Ну, это уже из детства.

— А детский ум?

— Из младенческого.

— А младенческий?

— Из ума плода, созревшего в материнской утробе.

— Вот! А теперь, внимание! Сосредоточь на этом свой ум. Представь эту единственную крошечную капельку в невидимой реке истории твоего ума — сконцентрируй ум на этом первом моменте осознанности, на этой самой первой вспышке сознания — пусть совсем ещё примитивного — в утробе твоей матери.

Конечно, я не мог этого вспомнить, но вполне сумел представить, ведь она должна была там быть, эта моя самая первая мысль, это моё самое первичное осознание. Думаю, что это было чувство внутриутробного тепла и влажности и ощущение того, что моя мать окружает меня со всех сторон.

— Стоп. На этом мгновении задержишься — сконцентрируй весь свой ум на этом первом мгновении.

Я послушно сконцентрировался на нём. Дхармакирти молчал. Он пронизательно вглядывался в меня, но не глазами, а своим могучим умом. Мы снова вернулись к диалогу.

— А вот это первое мгновение мышления когда-нибудь менялось?

— Конечно, я ведь продолжаю думать и сейчас, много лет спустя.

— А у этого мгновения была причина?

— Обязательно.

— А у него была первичная причина?

— А как же?

— А была ли первичная причина твоей самой первой мысли чем-то материальным — чем-то таким, что можно потрогать, потискать, взвесить или порезать на куски?

— Нет-нет, мы ведь уже говорили, что первичная причина должна быть из сходного материала, в данном случае из вещества ума, а не из

вещества тела.

— Ума? Какого ума? Другого?

— Конечно.

— И чей же это ум?

— Моих родителей, наверное.

— А разве ты думаешь так же, как они?

— В каком смысле?

— У тебя те же симпатии и антипатии, их интуиция, их сомнения?

— Нет, так сказать нельзя, хотя кое-какие их предпочтения я вполне разделяю.

— Значит, у тебя другое состояние ума?

— Другое — моё собственное. У моего ума свои симпатии и антипатии, интуиция и всё такое, причём с очень раннего возраста.

— Итак, если причиной этого первого мгновения твоего ума, этого проблеска осознания в материнской утробе, не был ум твоих родителей, то чей это был ум?

— Мой, наверное.

— Откуда?

— Из прошлого.

Тут только Учитель ослабил свою хватку и выпустил мою руку. Он смотрел в мои открытые глаза напряжённо, почти неистово, с каким-то почти неземным ликованием.

Я осознал, что жил и раньше, до того, как прийти в утробу моей матери.

— Хорошо, — кивнул он, и его лицо смягчилось, горящие угли в глазах погасли. Он вновь принял облик тихого пожилого монаха, седого монаха, возраст которого никто не взялся бы определить. Сколько ему было? Сорок, пятьдесят, а может, все шестьдесят, кто знает? Казалось, время и вовсе не властно над ним. — Неплохо, неплохо. Ты это прочувствовал. Вот теперь ты действительно готов чему-то учиться.

Он зашагал назад, к восточной стене Сада, туда, где было светлее, туда, где весело журчал ручей, вытекающий из фонтана, и мягко увлёк меня за собой.

Глава 5



ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ В СМЕРТЬ. ВАСУБАНДХУ

Теперь, после беседы с Дхармакирти, я точно знал: мать моя всё ещё жива. Знал, не потому что увидел её своими глазами, а потому что увидел её своим умом; не в том смысле, что смог увидеть её своим мысленным взором, а в том, что смог доказать себе, что она по-прежнему существует; и это было столь же достоверно, как если бы я увидел её собственными глазами. Кроме того, я чувствовал, что наши с ней судьбы тесно переплетены; я знал, что связан с ней такими узами, что должен отправиться за ней, куда бы она ни пошла. И на всех путях, какими бы я ни пошёл, я всегда хотел отыскать и её, мою златовласку.

Лучшее, что я мог для этого сделать, — это созерцать в поисках ответа. Но я знал, что ничего не получится без помощи Учителей, как знал почти наверняка и то, что помощь эта обязательно придёт. Я решил ещё раз вернуться в Сад; это решение далось мне без труда, ведь это священное место всегда было для меня местом ответов и решений, — местом, где царила радость.

Дело было зимой, и на этот раз путешествие отняло у меня больше времени — я вошёл в калитку Сада около полуночи. Вместо полной луны на небе красовался тонкий полумесяц, в его волшебном свете морозный иней на траве сверкал серебром. Холод сковал моё тело и почти лишил меня терпения; я впервые сел на скамейку под чинарой не спиной, а лицом к калитке — я уже не просил, а едва ли не требовал, чтобы, ну хоть разочек, она пришла поскорее. Но ждать опять пришлось долго, и только последние, но зато очень крепкие нити моей веры привязывали мой пристальный взгляд к железным пикам над входом, между которыми я должен был увидеть голову любого входящего в Сад.

Когда эта голова наконец появилась высоко над калиткой, меня пробрала дрожь, ибо не было там ни золотого лица, ни золотых волос, ни солнечного света, ни тепла, а только голый череп и две тёмные глазные впадины, утонувшие среди мертвенно-бледных теней на страшном лице. Похожий на привидение гость плавно и скоро преодолел расстояние от калитки до скамейки; его монашеские одежды волочились по земле, что

ещё больше подчёркивало его огромный рост. И вот он уже стоял передо мной, обратив ко мне своё лицо, которое, казалось, навсегда покинула радость. Это был Учитель Высшего знания Васубандху собственной персоной.

Мастер был худ и костляв; его конечности были длинными, но не тонкими, скорее сильными и рельефными; в его мускулистых жилистых руках чувствовались цепкость и твёрдость, несмотря на то что выглядел он лет на семьдесят. У него был низкий лоб, квадратная челюсть, а кожа так плотно обтягивала череп, что казалось, была просто нарисована на нём. Его губы были плотно сжаты, в щёки на концах губ врезались глубокие складки чрезвычайной серьёзности. Я потерял дар речи, перестал слышать шум фонтана и шелест травы и ждал, когда он сам заговорит; он же продолжал стоять передо мной, уставившись на меня сверху вниз.

— Ты сегодня умрёшь? — просто спросил он ни к селу ни к городу.

Если бы кто-то другой с такой внешностью в этом тёмном и уединённом месте задал мне такой вопрос, я бы, наверное, воспринял его почти как угрозу, но я всецело доверял его монашеским одеждам и поэтому также просто ответил:

— Я не знаю.

— А ты подумай, *ты сегодня умрёшь?* — продолжал настаивать Васубандху.

— Могу, наверное, от этого никто не застрахован, всякое может случиться... но пока не случилось, поэтому хочется верить, что сегодня нет, не умру.

— Ты на тело своё посмотри, — скомандовал он. — Это то тело, что умрёт?

Я взглянул на свои руки, на пальцы, совершенно окоченевшие от мороза, и вспомнил руки моей покойной матери в то утро, когда мы обнаружили её мёртвой, плавающей в собственной крови, — рак прогрыз её до самого сердца.

— Да-да, это то тело, которое умрёт.

— А когда придёт смерть, — продолжал монах напряжённым голосом, — тебе будет куда пойти? Ты знаешь хоть одно такое место, где смерть не настигнет тебя?

— Нет, такого места не существует. Ни неприступная крепость, ни корабль посреди океана, ни скит отшельника в глухом лесу, ни стальной склеп не защитят тебя. Смерть беспрепятственно проникает всюду.

— Но ведь ты так молод. А разве смерть не удел стариков? Разве смерть не выбирает свои жертвы исключительно по старшинству: сначала идут старые, а потом те, кто моложе?

Я думал над ответом недолго:

— Мы непременно должны умереть и ожидаем, что раньше умрут те, кто уже успел пожить своё. Но я не могу сказать с уверенностью, что порядок этот неукоснительно соблюдается, ведь многие мои друзья умерли совсем молодыми, — смерти, похоже, наплевать на порядок.

— Но ведь должны же быть какие-то средства, чтобы остановить смерть, ну там достижения медицины или какие-нибудь священные заклинания, известные только некоторым высшим иерархам церкви, ну хоть что-нибудь способное укрыть нас от смерти!

— Ну лекарств-то разных навалом, иногда даже кажется, что они могут отсрочить неизбежный конец, но в целом нет, ни одному доктору не удалось ещё найти снадобья, чтобы навсегда остановить приближение смерти, и ни один служитель культа не нашёл против смерти тех слов, которым бы она подчинилась.

— Но лекарства... Ведь если с умом их использовать, если приложить титанические усилия талантливейших людей, чтобы найти ещё более здоровую формулу питания, ещё более эффективные оздоровительные упражнения для тела, — разве так мы не сможем продлить свою жизнь?

Я задумался. Вообще-то и этот вопрос часто тревожил мой ум, да и мой на него ответ не успокаивал.

— Да, мы, конечно, можем всё это сделать, и нам даже покажется, что продолжительность нашей жизни насколько-то там увеличится. Однако парадокс заключается в том, что даже в часы выполнения этих упражнений, в часы, которые мы проводим в поиске, приготовлении и тщательном пережёвывании здоровой пищи, то есть даже в те часы, когда мы практикуем здоровый образ жизни, эти самые часы этой самой здоровой жизни неумолимо текут у нас как песок меж пальцев. В результате это время оказывается вычеркнутым из нашей жизни, а значит, как и любое другое потраченное время, приближает нашу смерть. То на то и выходит. Прожили дольше, но эти годы истратили на борьбу

за то, чтобы прожить дольше. Мы не можем остановить, мы не можем даже замедлить эту погоню жизни за смертью. Что день, то короче к могиле наш путь...

Васубандху стоял молча, а когда звук моих слов затих, я вдруг опять услышал журчание воды, вытекающей из фонтана за моей спиной. Казалось, что этим Учитель хочет указать мне на сходство этого ручейка с моей жизнью, которая только кажется одним целым, — потоком между камней, — а на деле оказывается постоянным безостановочным исчезновением навсегда драгоценных и неповторимых её моментов.

— Сколько часов ты сегодня провёл в созерцании? — наконец спросил он.

— Ну это... Обычно я делаю это регулярно и почти не пропускаю, но сегодня надо было ещё кое-что сделать сверх обычной работы в библиотеке, а потом я готовился к поездке сюда, то да сё, наскоро перекусил в какой-то забегаловке, и...

— Отвечай на вопрос.

— Вообще не созерцал. Времени не было.

— Ну а вчера, когда у тебя *было* время, ты долго медитировал? Сколько ты вообще уделяешь времени великому Пути, сколько времени ты уделяешь своему духу, а не бренному телу, раз уж оно всё равно должно истлеть?

— Вчера-то я как раз медитировал. Почти час, утром.

— Всего лишь час за целый день? — спросил он.

— Да я всегда созерцаю где-то по часу. Иногда утром, иногда вечером.

— Всего час? — переспросил он.

— Почти час. Включая приготовления и всё такое; а ещё частенько надо подготовиться к предстоящему рабочему дню, да и другие часто мешают, то им то надо, то это. В общем, если честно, то, думаю, выйдет полчаса, а если совсем честно, то и все двадцать минут.

— Двадцать минут в сутки, в которых двадцать четыре часа? — снова спросил Мастер.

— Да-да, я созерцаю всего двадцать минут, — сказал я, глядя в мёрзлую землю, — если вообще удаётся.

— А вот еда, сколько у тебя времени уходит на еду? — спросил он. — А сон, а болтовня с друзьями-приятелями, а легкомысленные рассуждения на тему, что бы такого ещё сделать, чтобы только ничего не делать? А сколько ты, наконец, в сортире просиживаешь? Ну скажи, сколько?

— Да я не считал. Это ж повседневные занятия. День прошёл, и слава богу!

— Так жить нельзя! Ведь ты живёшь, как будто уже умер. До смерти осталось так мало драгоценного времени, а ты его так бездарно тратишь, что его становится ещё меньше. У тебя вообще не осталось времени. Я бы сказал, ты *уже* покойник.

Я молчал.

— А знаешь, — мягко спросил Васубандху, как будто вспомнил свой собственный опыт, — как выглядит в глазах семидесятилетнего старца прожитая им жизнь?

— Откуда? Я ж молодой ещё! Он вздохнул.

— А вот представь себе сон — сон длиною в жизнь, порой наполненный приятными впечатлениями, порой омрачённый минутами страшной боли, но в целом насыщенный и красочный.

— Ну представил.

— А теперь представь себе миг пробуждения.

— Представил.

— А теперь представь себе чувства человека, который только что проснулся и вспоминает этот свой сон.

Мне было знакомо это ощущение, потому что и самому часто снились такие сны. И меня всегда поражало, что весь сон казался коротким, укладывался в несколько мгновений, в несколько кадров, быстро пробегавших перед мысленным взором в никуда. Мастер кивнул и некоторое время молчал, а затем уже в который раз я услышал вопрос:

— Я тебя спрашивал — ты сегодня умрёшь?

— Ну ей-богу, не знаю, — честно ответил я.

— Ну тогда я расскажу тебе одну историю, — негромко проскрежетал Васубандху. — Один человек здорово насолил одному влиятельному и

опасному типу. И вот этот тип пригрозил, поклялся, что до конца этого месяца придёт к обидчику ночью, ворвётся в его дом и перережет ему горло.

Я затрепетал как осиновый лист, не то от ночного холода, не то от ощущения страха, которое опустилось вместе с этими его словами на мой ухоженный Сад.

— А теперь вопрос. Если этот человек захочет подготовиться к подобному ночному визиту — навесить замки на дверях, поставить задвижки на ставнях, придумать, как вовремя позвать соседей на помощь, — то когда это лучше всего сделать? В первый же вечер, или можно подождать денёк-другой, а то и недельку, ведь неизвестно, когда именно придёт убийца с кинжалом, в какую из оставшихся до конца месяца ночей?

— Тут и думать нечего, надо готовиться немедленно.

— Но ведь убийца может прийти и позже, в предпоследнюю или даже последнюю ночь месяца.

— Ну и что? Всё равно, главное, чтобы все приготовления уже были сделаны: если отложить их на более поздний срок, а человек с ножом придёт раньше, то всё будет напрасно.

— Хорошо, что ты это понимаешь. Какова длина человеческой жизни?

— В наши дни лет семьдесят. Да, люди доживают до семидесяти.

— Нет-нет, я не спрашивал о средней продолжительности жизни. Я спрашивал: какова длина человеческой жизни? Как долго живёт человек?

— Конечно, кто-то живёт дольше, кто-то нет. Сейчас большинство доживает до семидесяти или что-то около того.

Мастер прочистил горло, в его глазах полыхнул гнев.

— Спрашиваю ещё раз: какова длина человеческой жизни?

— Ну, если ты так ставишь вопрос...

— Как это *так*? — резко перебил он.

— Хорошо-хорошо. Я не могу сказать, мы *не знаем*, не существует фиксированной длины жизни человека. Жизнь не имеет определённой длины — некоторые умирают в маразме старости, некоторые в расцвете сил среднего возраста, иные уходят из жизни на заре своей юности, а кто-

то даже в раннем детстве или ещё в материнской утробе.

— А умереть просто или трудно? — продолжал он свой безжалостный допрос.

— Думаю, что не очень просто. Вот я живу уже больше двадцати лет и пережил век крепкой телеги, или почти полжизни степного каменного дома, построенного на известковом растворе.

— Значит, тебе не приходилось слышать о людях, которые умирали от маленькой царапинки, куда попала инфекция, оттого что поскользнулись на ровном месте или оттого что получили неожиданный смертоносный удар кулаком в висок в случайной потасовке?

— Да сколько угодно! Вот у нас тут на днях случай был...

— Ну тогда ты, наверное, никогда не слышал о людях, которые были убиты как раз теми вещами, назначение которых было нести жизнь? Скольких раздавило телегами; скольким снесла полчерепа разъярённая дойная корова; сколько поперхнулось своим любимым блюдом, заботливо приготовленным женой; сколько полегло от рук врачей, назначивших им лечение; сколько попадало с лестниц в собственных домах; скольким проломило голову кирпичами, упавшими с той самой крыши, которая призвана была защищать жизнь, а не безжалостно отнимать её?

— Истинная правда. Так частенько бывает.

— А вот ты физиологию изучал — ответствуй, какова функция лёгких?

— Охлаждать тело, снабжая его воздухом и уравнивая влияние более горячего элемента — желчи, — быстро отпараторовал я, как на экзамене.

— А печени?

— Производить желчь, способствовать пищеварению, следить за тем, чтобы пища обогревала тело и служила ему топливом.

— А что будет, если в теле недостаточно тепла, а элемент ветра в лёгких станет слишком сильным?

— Пациент умрёт от пневмонии.

— А если элемент ветра ослабеет и тело перестанет охлаждаться?

— Пациент умрёт от лихорадки.

— Итак, мы можем сказать, что наше собственное тело — это машина, которая представляется столь чётко сбалансированной, отлаженной, а на самом деле работает до первого летального сбоя. Мы можем сказать, что функции внутренних органов распределены таким образом, что держат их в состоянии перманентной войны друг с другом, и победа одного из них — а ведь это неминуемая смерть всего организма — всего лишь дело времени. Так?

Мне было непросто осознать, что даже если ничего не убьёт меня извне, то моё тело само с этим управится, но я был вынужден признать правоту наставника.

— Точно так.

— А разве не правильно будет сказать, что убить это тело очень просто? Разве мы не окружили себя предметами, назначение которых давать нам кров, кормить, одевать и развлекать, служить нам средством передвижения, окружать нас теплом и уютом, и разве не является каждый из этих предметов нашим потенциальным убийцей, только и ждущим своего часа? Если, конечно, собственное тело не убьёт нас часом раньше. Ведь так?

Мне становилось всё неприятнее думать о тех вещах, о которых мы обычно предпочитаем не думать, но пришлось снова согласиться, и я молча кивнул.

— Пойдём дальше. Разве не правда, что обеспечение физических потребностей этого тела есть почти неизбежная деятельность, которая поглощает чуть ли не всю нашу жизнь? Разве большинство мужчин и женщин на этой планете не трудятся целыми днями в поте лица только для того, чтобы одеть и прокормить себя? Разве мало их так и умирают от нужды, не справившись с этой задачей?

— Всё так, всё так.

— Тогда ты должен признать, что мы рождаемся буквально для того, чтобы умереть. Не так ли?

Я опять кивнул.

Васубандху снова замолчал, и весь Сад затих вслед за ним, но это была не радостная тишина, которую разливала медитация Учителя Камалашилы, а страшное безмолвие смерти, безмолвие зимы. Казалось, в

этом Саду, прежде наполненном жизнью прекрасных цветов и деревьев, остался только холодный камень ограждавших его стен.

Я искоса посмотрел на Учителя; он, задумавшись, смотрел куда-то вдаль, в темноту над южной стеной, что возвышалась справа от него. Потом он снова опустил свой взгляд на меня, и меня поразило то, как сильно изменилось его лицо: каменный холод превратился в горячее сострадание, его полные слёз глаза сияли.

— А если у человека есть родные и близкие — милые его сердцу люди, близкие по духу, партнёры и испытанные соратники по борьбе, друзья до гроба, верная жена, послушные дети, умудрённые опытом родители и все те, кто прошагал с ним бок о бок всю его долгую, а может быть и даже скорее всего, недолгую жизнь, — то когда этот человек умирает, но ещё не совсем умер, а лежит на смертном одре, то они ведь соберутся, все до одного, станут рыдать и хватать его за руки, прикасаться к его щекам и груди и кричать: «На кого ж ты нас покидаешь?» Знакомая картина?

— Да-да, я и сам всё это видел, я и сам стоял у такого же одра.

— А заметил ли ты, что человек этот всё равно умирает, как бы крепко его ни держали?

— Видел.

— Умирает один?

— Один-одинёшенек. Хоть остальные и держат его, но никто не может ни удержать, ни пойти с ним вместе.

— Ну пусть никто не может с ним пойти, но хоть прихватить с собой кое-что он может? Какие-то дорогие его сердцу безделушки, ну хоть что-нибудь из того, что он скопил за всю жизнь, что заработал праведным трудом, что ревностно оберегал в стенах дома, который он всё ещё называет своим?

— Нет, когда потеряна сама жизнь, то любой объект, даже любая часть этого объекта, даже крохотный медяк, любая собственность — всё-всё, что нажито непосильным трудом, всё для него пропадает, полностью.

— И даже тело? Даже это драгоценное тело, которое мы холим и лелеем превыше всего прочего? Даже это тело, которое мы так вкусно кормили все эти годы; которое мы заботливо укутывали, одевали и по

погоде и по моде; эти волосы, которые мы стригли, завивали, причёсывали и укладывали чуть ли не ежедневно; эта кожа, которую мы мыли и увлажняли; это лицо, которое всю жизнь приветливо смотрело на нас из зеркала; и даже сама наша индивидуальность?

— Мы ничего не можем взять с собой, ничего — ни тела, ни даже имени; мы полностью одиноки, мы совершенно одни.

— Кого же зовут прийти на помощь в этот последний момент, в смертный час? Разве есть такой близкий друг, который мог бы помочь, или могущественный правитель, или богатый благодетель, власть и капитал которых способны спасти умирающего, или доктор, знания которогогодились бы в самый момент смерти?

— Нет, всё бесполезно. Некого позвать, не осталось никого, да никого уже и не зовут.

— Итак, можем ли мы, наконец, в заключение сказать, что мы непременно должны умереть?

— Да, — я едва смог поднять на него глаза, — да, чему быть, того не миновать.

Во взгляде наставника, обращенном на меня, вспыхнул праведный гнев, как будто он только что уличил предателя, причём такого, чьё предательство привело к страданиям и гибели множества невинных людей.

— А ты можешь представить мне, — требовательно спросил он, — хотя бы крупицу доказательства того, что когда умирает тело, то умирает и ум?

— Легко. Когда тело умирает, человек перестаёт двигаться, перестаёт говорить и, похоже, точно так же перестаёт и думать.

— А откуда ты знаешь, что он перестал думать, разве ты можешь это видеть?

— Нет, ум нельзя увидеть, ведь он не такой, как тело, он из другого материала сделан; ум — это что-то невидимое и осознающее, не то что эти кожа да кости, которые можно потрогать, разрезать и измерить. Но мы можем судить, о чём думает ум по выражению лица и по звукам голоса.

— Итак, ты хочешь сказать, что если тело повреждено настолько, что человек не может двигать языком, а мышцы его лица парализованы

настолько, что его выражение не меняется, то эта невидимая и сознательная вещь, именуемая умом, прекращает работу только потому, что не может выразить себя словами и гримасами?

Я понял, что он имеет в виду: это всё равно что признать всадника мёртвым только потому, что умер загнанный им конь; всё равно что руку, держащую топор, следует объявить мёртвой, тогда как всего лишь сломалось топориче. До меня начало доходить, что эта идея, состоящая в том, что невидимый и неопиcуемый ум должен умереть, когда умирает инструмент, через который он себя выражает, была одной из тех идей, в которые мы верим просто потому, что в неё верили наши родители. Я понял, что эта идея была одной из тех ложных концепций, которые мы принимали на веру только потому, что все вокруг в неё верили, только потому, что и мы верили в неё с пелёнок. Мне стало ясно, что и наши дети будут верить в неё лишь из-за того, что мы сами в неё верим, — проще говоря, без всякой разумной на то причины. У меня не нашлось ни одного доказательства, чтобы убедить Васубандху, что ум должен умереть потому, что умерло тело, потому, что мы перестали наблюдать влияние деятельности ума на это тело.

— Я знаю: ты успел увидеть безошибочным взором своего рассудка, что ты уже жил прежде. Возможно, тебе неизвестны детали, но от тебя не требуется, чтобы ты их знал, — это нелегко да и необязательно. Важно, что, отбросив непростительные заблуждения, окружавшие нас с раннего детства, при помощи холодной логики ты понял, что ты жил прежде. Полностью следуя той же логике, делаем вывод о том, что твой ум должен продолжиться в будущее, что он вовсе не разрушается только потому, что разрушается твоё теперешнее тело.

— Предположим, что это так... — заговорил я с некоторой надеждой, ибо мы наконец подошли к тому, зачем я и приехал в Сад, то есть найти известия о моей матушке и узнать о своём собственном будущем — будущем, в котором мы будем с ней вместе.

— Тогда, ясное дело, ум должен отправиться дальше, — буднично заявил Васубандху.

— А, точно, — заторопился я, — я слышал разговоры об этой, как её, реинкарнации, и о том, как мы должны разыскать среди ныне живущих людей тех, кто в прошлом был нами любим, а ещё о том, как некоторые находят провидцев, которые могут сказать точно, куда после смерти ушли их близкие, вот! — Я с надеждой взглянул на Васубандху, чтобы

понять, сможет ли его мудрость помочь мне в моих поисках.

Он смотрел мне прямо в глаза, и на этот раз слёзы свободно текли по его каменному лицу, а голос прерывался от волнения.

— Неужели ты думаешь, — спросил он мягко, — что человеческое рождение — ту жизнь, которую живёшь ты и которую прожила твоя мать — так легко обрести? Неужели ты думаешь, что каждый ум входит в такое тело и в такую жизнь?

— Да, но ведь утверждается именно это, — ответил я, продолжая упорствовать, не желая услышать от него то, что мог сейчас услышать.

Мастер посмотрел вдаль, потом снова на меня.

— Ты действительно считаешь, что тот мир, который мы видим перед собой, — единственный? Задумайся хоть на мгновение! Ты действительно можешь представить себе, что каждая из возможных сфер бытия со всевозможными формами жизни — вот тут перед тобой? Вдумайся, ты же способен рассуждать здраво! Разве сам факт существования того мира, который ты здесь видишь, не наводит тебя на мысль о том, что есть и другие миры и что их много, очень много — и не считаешь! — что есть почти бесконечное количество миров, о которых ты не имеешь ни малейшего представления?

Я задумался. Мне хватило краткого мига, чтобы — взглянув на холодное зимнее небо над его плечом, усыпанное мириадами звёзд, представив микрокосмосы живых существ, которые видимо и незримо существовали внутри каждой травинки и ручейка моего Сада, окунувшись в закоулки моего собственного ума, как уже знакомые, так и совершенно пока неизвестные, — признать, что мир, который я знаю, есть всего лишь огромный осколочек гораздо более громадной вселенной, состоящей из бесконечного разнообразия миров. И вслед за этой мыслью пришла другая, полная отчаяния мысль: я никогда не смогу отыскать свою мать.

Он почувствовал мои мысли и заговорил мягко, но настойчиво:

— Я кратко расскажу тебе о мирах и сферах бытия — необязательно принимать мои слова на веру, однако эти вещи могут быть доказаны, и они будут тебе доказаны в своё время — их можно увидеть, и ты тоже сможешь увидеть их своими глазами; забегая вперёд, должен тебе сказать, что ты *точно* увидишь их, когда придёт твой черёд.

Есть такие сферы... такие сферы, куда попадает ум, в которых ты впервые открываешь глаза, будучи уже вполне взрослым индивидом. И первое, что ты видишь, — это другие существа, вооружённые кто ножом, кто дубиной, с яростью приближающиеся к тебе. Ты инстинктивно шарить по земле, хватаешь всё, что попадает под руку, — камень, палку, и какая-то злая сила подхватывает тебя и бросает в атаку. Вот так и живёте вы, всю свою жизнь проводя в яростных сражениях, в нескончаемых убийствах себе подобных, то убивая других, то погибая сами в этом нескончаемом кровавом кошмаре. Но даже и гибель не приносит освобождения, страшное и странное проклятие довлеет над обитателями этого ада: они не могут умереть, а должны через несколько минут воспрянуть и снова вступить в бой, сражаться и страдать от ран, умирать и вновь воскресать, страдать снова и снова, и так на протяжении тысячелетий.

Есть сферы, где, чуть только открыв глаза, ты видишь, что весь объят пламенем. Ты не можешь умереть. Ты горишь. Ты чувствуешь агонию умирающего в огне тела. Ты стонешь и корчишься от боли и кричишь непрерывно, тебе просто больше ничего не остаётся как кричать, ничего не в силах делать что-либо другое в этом огненном аду. Ты горишь, но не сгораешь.

А то ещё есть сферы, где бегут, только бегут, спотыкаются, встают и снова бегут, чтобы спастись от огромных ужасных собак с железными клыками, которые впиваются в твои ноги, терзая и разрывая их на части. От них некуда скрыться, и нет этому конца, и остаётся только бежать, бежать и бежать.

Есть голодные сферы — такие области, где духи, мучимые голодом и жаждой, стеноют и рыскают в тщетных попытках удовлетворения своих желаний, ищут хоть какого-то успокоения. Голод и жажда так велики, что утолить их невозможно, и всё это продолжается бесконечно и безнадежно. Это те сферы, которые ты сейчас увидеть не можешь.

Он замолчал и снова посмотрел вдаль. Я вдруг почувствовал, что лицо моё мокро от слёз — слёз, которые лились из его глаз.

— Вот взять хоть этот мир, хотя бы те сферы, которые ты можешь видеть... — сказал он тихо. — Представь, каково это быть животным в этом мире. Знаю я вас, людей, и все мысли ваши знаю: вы считаете, что звери живут в естественной гармонии с природой, в каком-то там общении с деревьями, водоёмами и горами. А теперь я тебе расскажу, как

всё это устроено на самом деле, а ты меня перебебьёшь, если я начну заговариваться. Как ты думаешь, почему птицы вздрагивают и разлетаются при твоём приближении? Как ты думаешь, почему рыба стрелой уносится прочь, как только тень человеческой руки падает на поверхность воды? А ты никогда не задумывался, почему олень стремглав убегает при виде человека, равно как и лисица и тем более мышь; почему все в ужасе бросаются прочь от тебя?

Да потому, что жизнь животного — это жизнь, полная ужаса; в жизни животного есть только одна забота, одна цель, и состоит она в том, чтобы не стать пищей для другого животного. Или ты съешь, или съедят тебя! Итак, сильные едят слабых, слабые едят слабейших. Они убегают от тебя, потому что не хотят быть съеденными. Они проводят всю свою жизнь с оглядкой, в постоянном ожидании опасности, а ты и есть та самая опасность, потому что ты более сильное животное. Ты самая большая опасность. Ведь ты же зверь, который поймает их, да ещё и заставит на себя работать, а может, попросту сдерёшь с них шкуру себе на одежду, а мясо зажаришь и съешь.

Пойми же теперь, что такое на самом деле быть животным. Пойми, каковы на самом деле даже те сферы бытия, которые ты можешь видеть. И никогда, — говорил он почти сердито, — ты слышишь, никогда не обманывай сам себя, не воображай, что твой собственный ум не может принять такую форму жизни: «Чей угодно ум может там оказаться. Мой — нет». Не будь столь самоуверенным, столь бездумным. Думай головой, осознай уже, что твой ум не стоит на месте, осознай, что он куда-нибудь да направится после смерти, пойми, что, раз умы других попали в эти сферы бытия, значит, и твой ум не застрахован от такой же участи. Ум не кончается. Ум нельзя остановить. Ты не можешь остановить свой ум, даже если бы тебе очень захотелось. Ум должен двигаться дальше, а ты должен помнить, что существуют такие сферы бытия, которых ты себе и в страшном сне не представишь, сферы немислимого страдания, куда он вполне может попасть.

К концу своей пылкой речи наставник стоял почти не дыша — впервые за эту ночь мне показалось, что его почтенный возраст и зимний холод наконец возымели на него своё действие. Он смотрел на меня, печальный и усталый.

— Ты не должен попасть в эти низшие сферы, я не хочу, чтобы ты туда попал. Раньше мы говорили, что никто и ничто не сможет помочь

тебе в момент твоей смерти. Но это не так, ибо тебе поможет знание, тайное знание, знание духовных истин. Этим знанием ты можешь овладеть, и ты им овладеешь. Однако всё время вспоминай то, чему я научил тебя этой ночью. Это три принципа смерти: первый, что приход её неизбежен; второй, что время этого прихода неизвестно; и третий, что ни одна мирская вещь не поможет тебе в твой смертный час. Перечитывай эту главу, размышляй, медитируя над всем тем, о чём мы говорили, над каждым пунктом, чтобы доказать самому себе неизбежность смерти и прочие связанные с ней истины. Мы называем это памятованием о смерти и медитацией на смерть.

Я говорю всё это не для того, чтобы тебя расстроить. У меня нет желания напугать тебя. Назначение размышлений о смерти не в этом. У человека, который ничего не слышал о такой медитации и никогда ею не занимался, есть причина — очень серьёзная причина — бояться смерти; в свой смертный час он будет охвачен ужасом. Но если ты научишься этому созерцанию и как следует освоишь его, а потом добавишь к этому умение правильно уйти из этой жизни, то сможешь умереть без всякого страха, в полной уверенности — ведь ты заранее спланировал своё путешествие, ты знаешь, куда идти дальше, ты знаешь дорогу к высшим сферам бытия.

Безжалостный мститель с ножом придёт ещё до конца этого месяца, чтобы убить своего обидчика. Закрой все двери на замок и готовься; изучай то, что необходимо, и не тяни с этим делом. Начни прямо сейчас!

Глава 6



СВОБОДА. МАЙТРЕЯ

Холодная ночь с Учителем Васубандху потрясла меня; казалось, что ответы, которые я искал, ещё больше удалились от меня. Опровергнуть хоть что-нибудь из того, что он говорил, я не пытался. Но если всё, что он сказал, было правдой, то мне предстояло не только следовать своему смутному стремлению отыскать мою мать на хрупких перекрёстках мироздания или разбираться в очень важных для меня духовных отношениях с владычицей Сада, — нет, передо мной стояла куда более срочная задача. Раз ум не останавливается смертью, а всё говорило пока в пользу этой доктрины; раз существует практически бесконечное разнообразие миров и форм жизни, куда может забрести мой ум после смерти; раз многие из этих миров, судя по слезам в глазах Васубандху, были наполнены одним лишь страданием, то моя романтическая прогулка всё больше превращалась в смертельно опасные скачки наперегонки со временем, наперегонки с моей собственной смертью.

Вот почему, как только мне удалось отложить свои дела на работе, я снова поспешил в Сад. Было это ранней весной следующего года. Это время года — пора постоянных изменений в нашей то ли степи, то ли пустыне — совсем не похоже на то, что происходит в тех краях, где растут большие деревья и вообще много зелени, где весенние ветра пробуждают от зимнего сна ветви, которые начинают выпускать почки, и вот уже всё покрывается яркой юной листвой. В пустыне приглушённые пастельные цвета густеют постепенно; не лишённая приятности ночная прохлада сменяется приветливым теплом весеннего дня.

В этот раз, пройдя через калитку Сада, я подошёл к чинаре, но не сел на скамью, как обычно, а, движимый каким-то внутренним чутьём, опустил на траву небольшого газончика. Обхватив колени руками и опершись на них подбородком, я неподвижно взирал на кристально чистую воду, переливавшуюся через край фонтанной чаши. Глаза мои стали слипаться, и наконец я сладко уснул, совсем забыв, что пришёл сюда в надежде снова увидеть её.

Через некоторое время я очнулся, но не от звука, а от какого-то

странного ощущения где-то сбоку от меня. Это было какое-то лучистое тепло, вместе с тончайшим благоуханием, которое едва ли можно описать словами, что-то вроде смеси аромата гардении или китайской розы с запахом мёда. И снова волны почти неземного жара... всё это было более всего похоже на явления, сопровождающие присутствие самой владычицы Сада, и с тихой молитвой я повернул голову влево, положив правую щеку на колено, затем осторожно открыл глаза.

Я никогда не видел — ну или не помню, чтобы видел когда-нибудь — подобное существо, но узнал его безошибочно и сразу: это был Майтрея — Просветлённый, который, как было предречено, станет следующим Буддой, явившимся в наш мир. Его образ запомнился мне из старых фолиантов, где он был изображён безумно красивым, но сильно искажённым; казалось, художники древности тщетно пытались передать его величие, впервые просиявшее на земле шестнадцать веков назад, когда один человек, встретивший его последним, записал после беседы с ним Пять великих трактатов, дошедших и до наших отдалённых мест.

Он сел, как и я, на траву, согнув перед собой колени и слегка откинувшись назад, каждой чёрточкой своего образа и позы являя бесконечное изящество и абсолютную раскованность. У него были чёрные длинные волосы, ниспадавшие на плечи, и стройное мускулистое тело, пышущее здоровьем, молодостью и силой, от которого исходил очень мягкий и тонкий золотой свет. На нём была голубая набедренная повязка из какого-то сияющего мягкого материала наподобие шёлка. С восхитительным и незамутнённым простодушием он украсил себя множеством ювелирных украшений: в ушах — длинные золотые серьги с бирюзой, на шее — ожерелье из неярких белых бриллиантов, на груди — медальон из рубина и какого-то камня, похожего на лунный, на руках — изящные золотые браслеты филигранной работы с сапфирами и свободно ниспадающие с плеч золотые цепи, переплетённые с бусами из драгоценных камней и жемчуга розового, чёрного и кремового цветов.

У него было решительное и очень красивое лицо, лицо настоящего мужчины, но во всех движениях — и даже в том, как он сидел — проступало что-то очень женственное и весьма привлекательное. Майтрея казался самодостаточным существом, чуть ли не живым совершенством. Он взглянул на меня с таким искренним выражением абсолютной любви и сострадания, как если бы я в одно и то же время был его ребёнком и возлюбленным, любимой женой и дорогим его

сердцу братом. Однако к этому примешивалась явная озабоченность, словно он только что узнал, что я смертельно болен и дни мои сочтены.

«Я так люблю тебя» — эти свои первые слова он сказал естественным тоном, совершенно непринуждённо, как будто именно с этих слов, с такой абсолютной искренности и следовало обращаться к мужчине, к тому же совсем незнакомому.

Я улыбнулся и мгновенно почувствовал себя в присутствии старого и близкого друга. Мы сидели и просто смотрели друг другу в глаза, не испытывая потребности в словах. Не знаю, сколько времени прошло, но он наконец перевёл свой взгляд на столь редкую и столь ценимую в пустыне воду, лившуюся из фонтана. Потом снова заговорил.

— Я знаю твой ум, я знаю всё, что в нём было когда-нибудь, я знаю всё, что в нём когда-нибудь появится, я знаю всё, о чём ты думаешь сейчас, — короче, я знаю твой ум. Но мне было бы приятно, — тут он снова медленно повернул ко мне своё лицо, — насладиться с тобой радостью общения, поэтому я хочу, чтобы ты как следует выговорился. Тебе станет легче и веселее, а значит, и мне тоже.

Не чувствуя никаких сомнений, не видя дистанции между нами, не ощущая ни малейшего дискомфорта, я излил ему все переполнявшие меня мысли. Я говорил о том, как боюсь за посмертную судьбу моей матери, ибо точно знал, что она продолжает своё существование в одном из миров и может подвергаться серьёзной опасности. Я говорил о том, как и сам чувствую себя заблудившимся, как меня всё больше покидает надежда найти то, что я мечтал обрести вместе с ней, та надежда, которая когда-то привела меня в этот Сад. Он слушал меня предельно внимательно, снова глядя на меня так, как чистое, невинное и любящее дитя смотрит в глаза своей матери.

— Прежде всего, я желаю тебе найти то, что ты ищешь; ничто не доставит мне большего счастья, — сказал он искренне. — Поэтому меньше всего мне хотелось бы посеять в тебе новые сомнения или ещё больше тебя озадачить. Но я должен говорить правду и ничего кроме правды — я попросту неспособен лгать. Так вот слушай: те сферы бытия, о которых вещал Васубандху, все ужасы и страсти этих сфер — ничто по сравнению со страданиями твоей сферы, твоего собственного мира. Взгляд Просветлённых, вроде меня, трудней пробивается сквозь ауру страдания, окутывающую тебя и тех, кто живёт рядом с тобой, чем через все муки и боль других, скрытых сфер. Наверное, это происходит оттого,

что вы ближе других к тому, чтобы покинуть страдание вообще, потому что у вас есть всё необходимое для того, чтобы обрести полную Свободу. А может быть, — сказал он, и лицо его внезапно слегка дрогнуло, как будто он вот-вот заплачет, — смотреть на ваши страдания так тяжело оттого, что вы не осознаёте, что страдаете, и потому страдаете так безмолвно, бесконечно и безнадежно.

— Что это за страдания? Научи меня, расскажи о том, в чём они заключаются. Я хотя бы смогу узнать всю правду, — услышал я свой жалобный голос, голос человека, который просит поведать ему страшные истины, которые он, конечно, и так всегда знал, но которым не смел взглянуть прямо в глаза.

Он обратил ко мне своё золотое лицо и глубокие карие глаза, полные любви, и кротко заговорил:

— В том мире, в котором ты живёшь — в той форме жизни, в которой ты вынужден пребывать в этом рождении, — нет ничего постоянного. Разве ты сам этого не заметил? Ничему нельзя верить, ничто не остаётся неизменным. Те силы, что управляют твоим миром, те силы, что создали твой мир и тебя самого, обладают неким качеством неустойчивости, и поэтому никакая вещь в твоём мире не будет оставаться для тебя той же самой хоть сколько-нибудь долго.

И больше всего меня тяготит, — продолжал он с еле слышным вздохом, — когда кто-то из вас, людей, находит того, кого можно полюбить, и любовь эта взаимна; но время не стоит на месте, шестерёнки поворачиваются, баланс сил изменяется, и вот уже независимо от вас, под действием всё тех же сил, пришедших в движение, вы оба изменяетесь. В этом нет ни капли вашей вины, но вот уже любовь усыхает до симпатии, симпатия сменяется равнодушием, равнодушие перерастает в неприязнь, а неприязнь в конце концов превращается в ненависть. Так частенько и случается в вашем мире, что вы начинаете ненавидеть тех, которых раньше любили, а самые близкие прежде люди не вызывают вообще никаких чувств. Уж так он устроен, этот ваш мир.

Увы, вся моя жизнь подтверждала справедливость его слов, я ощущал какую-то почти физическую боль. Боль эта излучалась наружу, в сторону Майтреи, но, не пройдя и полпути, таяла в золотом свете, окутывавшем его тело. Я почувствовал себя больным ребёнком на руках у заботливой матери, одно только присутствие которой даровало мир и покой, излечивало раны и обиды.

Он замолчал, как будто раздумывая, стоит ли ему говорить дальше, но я молча кивнул, предлагая ему продолжать. Мы оба понимали: я должен овладеть этим знанием, чтобы стать свободным, чтобы, в конце концов, у меня возникло само желание освободиться.

Он, не мигая, смотрел мне в лицо, как будто хотел поддержать мою решимость дивным взглядом своих любящих глаз.

— Но есть у вас, людей, ещё одна, самая безжалостная разновидность страдания, о которой я поведаю тебе теперь только потому, что люблю тебя. В вашем нынешнем состоянии ума вы целиком и полностью неспособны испытывать эмоцию удовлетворения, чувство завершённости удовольствия. Ваши вожделения бесконечны, они словно огромным кнутом гонят вас, беспощадно бичуя, заставляя хватать, стараться заполучить всё больше и больше, как можно больше, всегда больше, чем у вас уже есть. Вы, как букашки, бессмысленно сражаетесь друг с другом за место под солнцем, стараясь вырвать своё ничтожное счастье у мира, у других букашек-сородичей, а потом — когда это вам наконец удаётся — ваша неудовлетворённость снова поднимает вас в атаку за новым куском такого же пустякового счастья. Иногда вам снова улыбается удача, но эта новая победа недолго радует вас, и всё начинается сначала... — Он снова помолчал, как будто уже само воспоминание о том, как работает ущербный человеческий ум, доставляло ему болезненные переживания.

— Попробуй представить себе, — наконец снова заговорил Майтрея, на этот раз глядя сквозь меня куда-то в пространство за моей спиной, — каково это — сидеть сложа руки и наблюдать моим всепроникающим умом — умом, которому известно всё, — все эти бесконечные вселенные, состоящие из несметного числа звёзд и планет, на которых живут бесчисленные живые существа. На светлой стороне каждой обитаемой планеты — той стороне, которая обращена к ближайшей звезде — сейчас день, и вот все эти бесчисленные существа, безжалостно подгоняемые бичом своей неудовлетворённости, будут до самого вечера тратить драгоценные часы своей жизни на эту гонку за бессмысленными удовольствиями, которые им с каждым разом всё труднее и труднее получать и которыми просто невозможно — ибо некогда, ведь уже надо бежать за новыми! — толком насладиться. Каково это — наблюдать, как измотанные этими скачками за призраком удачи, истощившие свои тела, впустую растратившие свою энергию и интеллект, эти суетливые

людишки умирают от своих непомерных и тщетных усилий — и всё потому, что им никак не удовлетвориться тем, что у них уже есть, хотя в подавляющем большинстве случаев того, что они имеют, вполне достаточно, чтобы достичь — как достиг я — истинного счастья.

И он снова замолчал, на этот раз надолго. Такая пауза уже сама по себе была беспощадной, ведь я не мог не заметить, что он только что описал мою жизнь и жизнь всех тех людей, что живут вокруг меня. Совсем неожиданна была жестокость, исходящая от существа, попросту неспособного ни на что, кроме чистейшей любви.

Наконец Майтрея с наслаждением по-кошачьи вытянулся на траве и зачерпнул между корнями чинары горсть песка. Он перекатился на живот, глядя на траву, которая была слегка освещена золотым сиянием его тела, медленно и даже как-то мечтательно поднял ладонь и начал сыпать песок тонкой струйкой; песчинки слегка вспыхивали, пролетая сквозь свет, исходящий от его лица, и собирались на земле между былинками в небольшую кучку.

— Посмотри на эту горку, — тихо скомандовал он. — Она величиной с гималайскую вершину, она занимает полнеба, она подавляет воображение своими размерами. А каждая песчинка — это мёртвое тело, отдельно взятый труп. Гора трупов. Тут мужчины и женщины, самки и самцы, толстые и худые, белые и темнокожие, двуногие и четвероногие, молодые и старые, покрытые шерстью и одетые в чешую, говорящие, блеющие, чирикающие и просто пускающие пузыри — тысячи, сотни тысяч, нет, миллионы трупов лежат в этой кучке между травинок. И все эти тела твои, ведь я наблюдал за тобой и веками надеялся, ах как я надеялся, что в один прекрасный день ты станешь достаточно чистым для того, чтобы узреть меня. А ты все эти годы, все эти долгие годы, которым несть числа, брал себе одно тело за другим — бесчисленное количество, мириады тел! — влезал в него, разгуливал в нём, плавал, летал или ползал, снова и снова умирал вместе с ним, прожив пустую, бездарную жизнь в бессмысленной погоне за никчёмным счастьем. — Тут он наклонился, дунул на песчаный холмик, и тот рассыпался.

Мы снова на мгновение замолчали, но я чувствовал, что Майтрея ещё не закончил портрет моего безысходного существования. Он снова перевернулся, всё с тем же наслаждением потянулся и лёг на спину, уставившись в звёздное небо с очевидным выражением совершенного счастья, так напомнившим мне её облик.

— Ты посмотри на это небо, посмотри на эти далёкие звёзды! Кстати, может, тебя порадует то, что, пока я наблюдал за тобой на фоне рождения, развития и гибели целых галактик, тебе удавалось достичь невероятных высот. Помню, как жители одной планеты возвели тебя на трон, присвоив тебе титул Чакравартина — вселенского монарха. Я видел, как ты был первым и единственным восходителем на высочайшую вершину другой планеты. Я видел, как ты был женщиной, совершенной, несравненной красоты, я видел тебя сказочно богатым торговцем, самым быстрым бегуном, самым известным учёным, самым гениальным художником, самым бесстрашным воином, — короче, самым прославленным, совершенным и непревзойдённым среди всех жителей твоего мира.

И, тем не менее, всякий раз — как ты это знаешь на примере своей нынешней жизни — ты терял своё положение, всё менялось на глазах, и вот ты уже становился чуть менее красивым, чуть менее быстрым или чуть менее сильным, а кто-то другой, наоборот, прибавлял в красоте, скорости и силе. Время, безжалостное время влекло тебя вниз, пока ты не падал ниже, чем когда начинал, пока ты не становился хуже, чем когда начинал. И вот ты уже почти ничто — и не просто ничто, а забытое, презираемое всеми ничтожество. Нет такого состояния славы или счастья или материального благополучия или душевного комфорта — в семье или среди друзей — или домашнего уюта, которое со временем не приходило бы в полный упадок, не распадалось бы в конечном счёте до мельчайшей пыли. Поверь мне, ведь я столько раз это видел. Ты знаешь, что это правда, ведь я так тебя люблю.

И всё было бы не так невыносимо, — продолжал он утвердительным тоном, — если бы мы были все вместе; если бы осознали наше страдание и объединились; если бы все живые существа, как один, выступили против боли и несчастий; если бы все любили и поддерживали друг друга. Но те силы, что движут всем в вашем мире, что создают саму форму вашего существования, не допускают даже и этого; эти силы тащат нас через время, толкают нас перед собой сквозь короткую и несправедливую жизнь, полную насилия, лишь изредка позволяя нам передышку, когда мы можем побыть вместе с другими. Мы шагаем по жизни, общаемся с друзьями или возлюбленными, супругами или родными, обретаем утешение, поддержку, душевный комфорт и радость общения друг с другом, а потом эти силы неизбежно разлучают нас, разбивая семьи, ссоря влюблённых, сея недоверие среди вчерашних

друзей. Здесь, в этой твоей сфере бытия, нет никого, с кем ты мог бы остаться, никого, с кем ты мог бы прожить больше краткого мига между прошлым и будущим, — и вот тебя уже неумолимо швыряет в это самое будущее, где нет ничего, кроме безысходности полного одиночества. Ты всегда одинок; ты рождаешься в одиночестве, в одиночестве ты бредёшь по жизни в этой сфере бытия, а потом ты умираешь, снова, как всегда, один-одинёшенек.

Он вздохнул, закрыл глаза и, внутренне совершенно спокойный, снова опустил на траву в безысходности полного отчаяния за мою судьбу и судьбы мира.

Казалось, прошло несколько часов, а мы всё лежали на траве. Размышляя, я всё пытался усвоить то, что услышал, постичь этот самый несчастный из миров желаний, описанный самым свободным от желаний существом. Воздух вокруг нас стал постепенно наполняться сиянием, пока наконец всё пространство под сводом чинары не пропиталось мягким золотым свечением. Сначала я подумал, что наступил рассвет, и удивился тому, что совсем не чувствую усталости, хотя и должен бы, а потом понял, что это ярким, почти невыносимым раскалённым светом полыхает сам Майтрея, словно излучая новый солнечный свет для цветов и деревьев Сада.

Его глаза медленно и томно приоткрылись, как всегда наполовину, снова напомнив мне её, всегда пребывавшую в недоступном моему пониманию состоянии таинственного наслаждения. Он широко улыбнулся мне и прошептал:

— Ну а теперь давай уже свой вопрос.

Ну и что можно спросить у существа, которое и так знает всё, что я когда-либо говорил или собираюсь сказать? Однако наиболее очевидные вопросы, которые больше других мучили меня, вдруг так и посыпались на него.

— В чём же всё-таки причина всего этого? И что это за силы, которые ты всё время упоминаешь? Почему мы должны так страдать? Что заставляет нас страдать? Разве так будет всегда? — скороговоркой выпалил я.

Майтрея снова потянулся и сел, скрестив ноги прямо напротив меня; он положил мою ладонь себе на колени и бессознательно стал поглаживать её. Меня это слегка смутило, и я предпринял слабую

попытку вернуть её назад, сам удивляясь своим сомнениям, размышляя о том, что во мне недостаточно любви, чтобы принять любовь даже такого совершенного существа, но его руки были сильнее. Он всё гладил мою руку.

— Представь, — заговорил он, и свет засиял ещё на порядок ярче, — казалось, моё лицо и грудь купаются в этом тёплом золоте. — Как было бы здорово, если всякий раз, когда кто-нибудь из окружающих тебя людей получал то, что хотел, тебя охватывала бы совершенная радость. Представь, что ты испытываешь такое же счастье, как и другой человек, когда слышит похвальные слова в свой адрес или когда ему достаётся какая-то труднодостижимая вещь, о которой он давно мечтал, или когда он обретает новую и очень близкую подругу или верного соратника. Представь ещё, что ты смог бы чувствовать себя так даже в том случае, если и сам давно надеялся заполучить для себя самого ту же вещь или эту же подругу; представь, что ты способен с таким совершенством разделять счастье и радость других людей, что вообще перестал отличать их от своих собственных чувств. Речь идёт о том, чтобы прожить свою жизнь, полностью освободившись от эмоции... — тут он запнулся, видимо подыскивая слово, которое он веками не употреблял в разговоре и даже не вспоминал, — ...зависти.

С этими словами он высвободил одну руку, протянул её вперёд и, мягко коснувшись моей головы, провёл пальцем линию от макушки через лоб к точке между бровями. От этого его прикосновения я ощутил необычайное облегчение, чувство блаженного избавления от какой-то великой печали, а кожа на лбу расслабилась так, как ещё никогда не расслаблялась с тех пор, как зависть, чьей жертвой я стал ещё в младенчестве, впервые пропахала там глубокую борозду. В этот момент я смог отчётливо представить, как проведу остаток моих дней без зависти, как много времени это сэкономит, как много ограниченного пространства моего ума освободится для других, гораздо более светлых и радостных мыслей. Я почувствовал, как будто меня выпустили из какого-то душного чулана в огромную сверкающую огнями позолоченную залу, предназначенную лишь для изящных и весёлых танцев.

— А теперь представь, — его лицо всё больше расплывалось в улыбке, — что ты полностью понял наиглавнейшие силы, лежащие в основе самой реальности, а значит, в совершенстве научился получать от жизни всё, чего тебе хочется, доставать любые вещи, каких бы тебе только ни

захотелось. Тебе больше никогда не нужно будет слепо сражаться за то, чтобы достигать и удерживать желаемое, а достаточно будет просто с пониманием и удовлетворением ожидать соответствующих результатов своих добрых дел. Как же тебе объяснить, чтоб ты понял-то? Я ведь вот что хочу сказать: если вам, людям, полностью освободиться от той эмоции, которая так беспокоит вас, эмоции, которая делает вас столь несчастными и неполноценными, если вам перестать, — он снова зашевелил губами, подбирая слова, — желать вещи, хотеть вещей?

Эта идея была бесконечно труднее для моего восприятия, но рука Майтреи так нежно ласкала меня, что я сразу понял — не посредством его слов, а через вот эту ласку, — что именно он имел в виду. Ведь говорил он не обо всех видах желания или хотения вообще — вот хотел же он, к примеру, чтобы я его понял, ведь желал же он, чтобы я был счастлив, — а скорее о той разновидности желания, которое день за днём и каждую минуту терзает моё сердце, нарушает мой покой, насильно лишает меня чувства удовлетворения и счастья — тех самых чувств, которые, казалось, должно было даровать исполнение этого самого желания. И пусть я ощутил лишь слабый привкус того ощущения, о котором он говорил, но мне показалось, что из той танцевальной залы я вырвался к светло-синему небу: мой ум сам стал свободным и распахнутым, как само это небо. Когда же я подумал о своей будущей жизни, то мне показалось, что там меня, без сомнения, ожидает одно только умиротворённое счастье. Его ладонь лежала у меня на лбу — так мать прижимает прохладный влажный компресс, успокаивая мечущегося в лихорадке ребенка, — но я почти не ощущал её.

— А теперь обратная задача, — снова нарушил он молчание, и его голос, казалось, слился с хором певчих птиц Сада, которые радостно приветствовали восходящее по случаю окончания ночи солнце. — Вообрази, что случилось нечто такое, что тебе не по душе, или, скажем, пришёл кто-нибудь, лично тебе неприятный, — вообрази такое событие, представь себе этого человека. Что-то пошло наперекосяк, не так, как планировалось. Кто-то сказал тебе гадость. Ты не смог получить то, в чём нуждался. А теперь представь, что ты реагируешь с совершенной невозмутимостью; ты чётко понимаешь основные причины этих событий — ты знаешь, что вызвало их к жизни, ты знаешь, чем всё это закончится, и какое-то время просто наблюдаешь за происходящим, может быть, даже с печалью, но вот точно без этой эмоции, которую вы называете... неприязнью.

Мне снова дали осознать огромную пропасть, которая лежала между тем, как думает это золотое существо, и теми способами, которыми получалось думать у меня. Я послушно попытался представить, каким бы я стал, если у меня ни к чему не осталось бы неприязни. Инстинктивно я снова чувствовал более точное значение его слов; я знал, что он, пусть и своим просветлённым образом, испытывает глубочайшую неприязнь к тому факту, что я и все окружающие страдаем. Я знал и то, что его неприязнь была скорее разновидностью сострадания, что свою заботу о нас он ощущает как благотворную милосердную радость, что он просто не способен испытывать смущение и обиду, которые мы переживаем вместе с неприязнью к раздражающему нас человеку или непредвиденному повороту событий нашей жизни.

Мне было ясно, что он не хочет сказать: «Представь, как здорово было бы не испытывать боль» или «Представь, как было бы хорошо, если бы ты мог не обращать внимания на боль, которую испытываешь». Нет, смысл его слов был такой: «Представь, как прекрасно, когда боль приходит к тебе, а ты ясно видишь в глубинах самой реальности те причины, которые причиняют тебе эту боль, и продолжаешь пребывать в глубоком, надёжном и подкреплённом этим видением покое ума, радостно продолжая своё дело по полному искоренению этого и всех других видов боли навсегда».

Эта мысль ещё больше освободила мой разум, мне теперь казалось, что из голубого простора земной атмосферы я лечу к далёким звёздам на бархате ночного неба; я увидел всю жизнь впереди; мой ум, полностью освобождённый от тех мыслей и эмоций, которые прежде отравляли моё существование; я увидел в самом этом уме столько свободного пространства, столько свободного времени, чтобы любить, творить, отдавать другим... Я сидел под чинарой, глядя сквозь её ветви в синее небо, в какой-то блаженной прострации, в состоянии полного восторга, забыв про всё на свете, даже про самого Майтрею.

— Сделай паузу... — тихо засмеялся он, наслаждаясь моим наслаждением. — Всё ещё впереди.

И я снова обратил к нему свой взор и погрузил своё сердце в сердце Майтреи.

— Я буду говорить, а ты представляй, — улыбнулся он, — представляй себе мир, в котором ты просто дитя, невинное, вечно смеющееся, любопытное и очень счастливое дитя. Ты радостно шагаешь

по жизни, открыто и охотно, с удовольствием учишься у всех окружающих. Ты находишь, чему поучиться у каждого, кто встречается на твоём пути, высоко ценишь эти драгоценные и полезные уроки — ты умеешь внимательно слушать — и внемлешь им, будто прислушиваешься к трелям одинокой певчей птицы в пустыне. В результате тебе неизменно достаётся алмаз или рубин понимания, который наполняет твоё и без того уже переполненное знанием сердце. Все вокруг дороги тебе, как Учителя, каждый дарует тебе нечто драгоценное для твоей жизни. И снова я не знаю, как выразить это словами, которые были бы тебе понятны, но представь, что твой ум на всю оставшуюся жизнь будет полностью очищен от эмоции... как же вы нынче называете её?... — Он озорно взглянул на меня, как будто ожидая, что я тут же угадаю всё слово целиком. — Хоть бы первую букву назвал! — Но мне ничего не шло на ум, и даже его описание не сильно помогло. Наконец я сдался, а он произнёс: — Гордыня.

Если честно, я едва ли мог надеяться победить этого милейшего и постоянного спутника моей жизни, но идею детской открытости понял и принял; она казалась мне каким-то ценным сокровищем, спрятанным где-то на моём жизненном пути, которое я, может быть, когда-нибудь и открою для себя. Радость Майтреи была заразительна. Я чувствовал себя счастливым, ну или почти счастливым.

— А теперь закрой глаза, — продолжал он, и я почувствовал, как кончики его тёплых пальцев легко коснулись моего лица и век, — и представь, что ты дошёл до самой сути, до полного, совершенного понимания самых глубинных основ существования: для тебя ничто уже не тайна; ты знаешь истинные причины, лежащие в основе всех событий и явлений; тебе известны глубочайшие скрытые связи между всем сущим; тебе известно всё, чего обычно ищут люди, желающие постичь все тайны мироздания; ты знаешь, почему происходит именно то, что происходит, а не совсем другое, хотя вполне могло бы; ты знаешь причину возникновения каждой мысли; ты знаешь причину, из-за которой приходит боль к каждому конкретному живому существу; ты можешь избавить каждого от его боли, — иными словами, ты полностью понимаешь руководящие принципы, которые действительно управляют всеми сферами бытия, и ни одно событие не остаётся без объяснения, ни одна проблема не остаётся нерешённой.

Короче, ты точно знаешь, как нужно поступать и что делать, чтобы

достичь как сиюминутного, повседневного, так и абсолютного, непреходящего счастья как для себя самого, так и для всех вокруг тебя. Твой ум полностью свободен от эмоции... как бы нам её назвать? Это та великая неспособность живых существ понять саму жизнь, это такое состояние сознания, которое думает: чтобы получить, нужно только брать, а не отдавать; это такое состояние сознания, которое считает: чтобы достичь подлинного счастья, нужно удовлетворять только себя, а никак не других; это то полное непонимание устройства всех вещей, которое заставляет людей на протяжении всей их жизни методично и напористо, с какой-то даже тщательностью, уничтожать то самое счастье, обретению которого они посвятили эту жизнь. Одним словом, это... — тут он произнёс, словно выплюнув из себя, — *неведение* того, как реально работает действительность, или неведение в отношении того, как действительно работает реальность.

Честно сказать, я с трудом разбирался в том, как на самом деле работает реальность. Приходилось также признать, что и вся мировая наука, бравшаяся за разгадку тайн мироздания, была весьма отсталой в этом вопросе. Думаю, любой из моих соотечественников согласился бы и с тем, что нынешнее состояние наших представлений о мире привело к тому, что все наши поиски секрета всеобщего счастья привели к войне, поиски вселенской любви закончились ненавистью и насилием, а стремление к благосостоянию — всемирным обнищанием, голодом и разрухой. В общем, мне оставалось только гадать, что же описывал Майтрея... Точное понимание снова пришло вместе с благословляющим прикосновением его пальцев. Теперь я знал, что возможно существование чётких законов реальности, полное постижение которых позволило бы нам использовать их для освобождения от всех видов страдания. Осознание этого в одно мгновение наполнило меня не только безграничной энергией, но и непреодолимой жадью узнать как можно больше об этих законах. Вот только смогу ли я?

— И никогда не сомневайся, любимый. — Я всё больше привыкал к таким обращениям, более того, я чувствовал растущее влечение к состоянию ума, которое имеет право с такой чистотой пользоваться ими. — Не сомневайся, — говорил меж тем Майтрея, — что познание этих вещей возможно; не сомневайся, что рядом с тобой есть существа, которые уже овладели этим знанием и готовы охотно привести тебя к нему; не сомневайся, что эти знания могут принести тебе абсолютную свободу и счастье. Итак, представь же себе, что твоя жизнь отныне и

навсегда свободна от этого скептицизма и сомнений в духовном Пути, которые привели столь многих интеллигентствующих зубоскалов к гибели, наступившей от их полной и явной беззащитности перед законами реальности.

Я чувствовал, что такие сомнения едва ли были мне свойственны, главным образом в силу моей веры в неё, в это святилище, и в мою постоянную тягу к возвращению сюда в поисках самого себя, в поисках моей жизни. Однако сейчас пришло и новое осознание: те немногочисленные добрые навыки в стремлении к духовности, которые любой из нас может так легко обрести, можно также легко и потерять. Поэтому я твёрдо решил дорожить своей устремлённостью и крепить свою уверенность в том, что есть духовный Путь и есть наставники на этом святом Пути; после чего, конечно же, утонул в мыслях о ней.

Майтрея с пониманием отнёсся к такому повороту моих размышлений, к такому отступлению от генеральной линии его проповеди, ибо уже прозревал его результат, пока ещё скрытый от меня в туманном будущем. Повисло недолгое молчание. Мы буквально купались в тепле летнего дня, в аромате вдруг зацветших роз, слив и мандаринов — в тех запахах, которое неурочное тепло породило во всём, что произрастало в дивном Саду. И мне кажется, я даже погрузился там в сон, на робкой травке уходящей зимы, под покрывалом чистой и предназначенной всем без различия любви, исходящей из его ума.

А потом его губы оказались у моего уха, и он сказал:

— Завтра ты вернёшься к работе, к научным занятиям, к столь любимой тебе графомании, но и посреди трудов своих праведных ты будешь вспоминать слова, которые я говорю тебе ныне. Ты остановишь на миг мирскую суету своих серых будней, сделаешь паузу... И представишь тогда, что твой ум навсегда очищен от самых опасных из всех несправедливых мыслей: от интеллектуальных размышлений, от тех, что вроде бы ищут путь, но делают это неправильно, от тех, что могут отбросить тебя в ту самую тьму, из которой ты частично уже выбрался.

Вот какие это могут быть идеи, например. Утверждение о том, что у тебя нет продолжения в будущем, после смерти, или что у тебя нет причины в прошлом, до этой жизни. Догмат об отсутствии связи между хорошими и плохими деяниями, которые мы совершаем, и хорошими и плохими событиями и переживаниями, которые постигают нас в будущем. Концепция о том, что совершение дурных поступков в

отношении окружающих или вред, наносимый самим себе, а также следование всевозможным спорным верованиям и лжеучениям может привести к достижению наших духовных целей или хотя бы способствовать тому. Представляй же, что твой ум чист и свободен, несокрушим и всепобеждающ. Наблюдай, как он ищет и находит, исследует и делает правильные выводы, следует истинным Путём и достигает результата!

— Подходящий десерт, — сонно пробормотал я, — к тем изысканным духовным яствам, которыми ты насытил нынче ночью моё сердце. И обещаю тебе, — я перешёл на шёпот, — что я обязательно сделаю свой ум таким, как ты говоришь, что отныне я буду следовать только праведным мыслям, что я навсегда выброшу из него те негативные мыслишки и эмоции, которые крадут драгоценное время моей жизни и отнимают у меня счастье, ибо ты дал мне почувствовать истинный вкус того, каким я могу быть, избавившись от них: свободным, воистину свободным.

Я почувствовал, как во внезапном приливе непорочной любви он вдруг прошёлся руками по моему телу, растирая его от пальцев ног по спине и до самой головы сначала вверх, а потом вниз.

— Это хорошо, родной мой, ибо сегодня в тебе зародилось понимание того, что же такое есть настоящая Свобода. Как ты уже сказал, это свобода от всех этих ядов ума, свобода навсегда, свобода для того, чтобы обнаружить в себе полную и нескончаемую безмятежность и пребывать в ней. Но недостаточно просто распознать, что собой представляют эти яды. Недостаточно всего лишь понять, что эти мысли, которые, как ни парадоксально, мы стремимся культивировать и отстаивать всю жизнь, являются источником всех наших страданий.

Завтра утром, ещё раньше, чем ты думаешь, ты обнаружишь, что не в состоянии устранить эти негативные эмоции, просто решившись на это или даже искренне предпринимая какие-то усилия. Ты очень скоро поймёшь, что опять пребываешь в том же неведении, страстно желаешь чего-то; ты увидишь, что в неведении испытываешь неприязнь; ты снова будешь завидовать, гордиться, ты станешь подвергать сомнению многое из того, что связано с Путём, — даже эту нашу встречу, даже меня, даже свою драгоценную госпожу. Нет-нет, когда-нибудь всё у тебя получится, и сегодня ночью здесь, в этом Саду, уже стало получаться, отчего сердце моё наполнено радостью, ибо я вижу, что тыходишь всё ближе и

ближе.

— Однако есть только один способ окончательно уничтожить этих врагов — эти мысли — навсегда устранить их из твоего ума.

Я знал, что Майтрея — это дитя света — собирается открыть мне секрет обретения свободы. Но, несмотря на то что в этом была цель всего моего существования, я — как это часто бывает в наиболее критические моменты нашей жизни — был почти в беспамятстве, убаюканный золотым сиянием, пропитавшим весь Сад и все мои мысли. В этом блаженном полусне я почти не услышал, но всё же как-то разобрал и, главное, запомнил его слова:

— Ты должен — я умоляю тебя всем сердцем, возлюбленный мой! — самостоятельно достичь понимания священного состояния пустоты.

Глава 7



ДЕЯНИЯ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ. ГЕНДУН ДРУБ

В следующие несколько месяцев мне нечего было делать в Саду. Подарившая пробуждение встреча с Величайшим Просветлённым, с самим Майтреей, оставила мне столько пищи для размышлений, что новых вопросов у меня попросту не возникало. Весна уже прошла, а я всё пересматривал и анализировал условия своего бытия. Больше всего времени я уделял особенно тщательному изучению и обоснованию того факта, что сущность моего ума заключалась в неспособности довольствоваться обрётённым: проходило совсем немного времени, как меня переставала радовать новая вещь, и я уже хотел чего-то ещё и ещё. И не важно, была ли это материальная вещь, почёт и признание или отношения с другими людьми. Раньше я всегда считал, что это мой собственный изъян, что вот такой я испорченный человек, беспокойная душа, но теперь был заинтригован намеками Майтреи на истинную причину этой неудовлетворенности: несколько раз он упоминал тайные силы, не подвластные моему контролю. Он сказал, что они уже приведены в движение, эти силы, порождающие мир, в котором я живу, порождающие меня самого и даже все мои мысли — все виды боли страдания, включая и эту самую неспособность утолить свои желания.

Когда я вопрошал его об этих силах, он в ответ говорил только о различных мыслях, называя их ядами, которые действительно многое определяли в моей жизни: зависть, желание обладать, неприязнь, гордыня и всё такое. Я пытался отыскать какую-то взаимосвязь между этими мыслями и страданиями моего мира, но чего-то здесь не доставало. Как всегда, я думал о своей матери, почтенной женщине, которая прожила в целом очень добродетельную жизнь. Но я помню, как она страшно страдала от рака, который в конце концов убил её, разорвав её сердце. А ведь из всех людей, которых я знаю, её ум менее всего был подвержен воздействию этих ядов: она так редко проявляла гнев или зависть; её любили почти все, кто знал, и она всех любила; она отдала обучению своих детей добродетели и высоконравственному поведению существенную часть своей жизни. Я ещё смог понять, почему такие

психические аффекты, как зависть, могут разрушить покой нашего ума, но так и не сумел выяснить, какое отношение они имеют к болезням, войнам, нищете и самой смерти.

Когда я снова пришёл в Сад во всеоружии новых вопросов, самые жаркие дни степного лета уже были позади, хотя солнце всё ещё нещадно палило в раскалённом небе. На этот раз у меня не было надежд на визит милых ангелочков, я скорее чувствовал себя боксёром, выходящим на ринг, готовым наносить и парировать удары в истинном интеллектуальном спарринге между двумя мыслителями. Мне не пришлось разочароваться: не успел я сесть на скамейку, как через калитку прошагал Его Святейшество Гендун Друб — первый в череде далай-лам Тибета.

Пятьсот лет назад он родился в семье кочевников, где-то на задворках тибетского царства, никем толком не управляемых, и каждый его жест говорил о решительности и уверенности в себе. Сразу же бросалась в глаза его могучая грудь, выпирающая из-под монашеской накидки, а ещё его руки, сильные, с налитыми мускулами, несмотря на то что ему было уже под шестьдесят. Глаза Его Святейшества были широко распахнуты, в них светился недюжинный ум, а лоб был перепахан такими глубокими морщинами — следами многолетних глубочайших же раздумий, — что их легко было по ошибке принять за шрамы от сабельных ударов. Он подошёл ко мне и одним ловким движением смахнул меня со скамьи на траву рядом с ней, а сам уселся на моё место, не обращая внимания на свою растрёпанную монашескую одежду, и погрузился в размышления.

— А ну-ка отвечай, *что* управляет этим миром? — заорал вдруг Далай-лама Первый, сразу лишив меня дара речи.

Он наклонился ко мне, в возбуждении тяжело дыша мне в лицо, всем своим свирепым видом требуя немедленного ответа. Я испуганно отшатнулся.

— Я не знаю, я сам сюда пришёл, чтобы узнать это, я не уверен, но думаю, что, наверное...

— Думаю! Наверное! Не уверен! — передразнил он. — А теперь я тебе скажу, что управляет миром: те самые дурные мысли, вот что! Те самые дурные мысли и те поступки, которые они тебя заставляют совершать! Вот что! — Он снова выпрямился с видом триумфатора, как будто на серьёзных дебатах по философии разбил в пух и прах

достойного противника, а не ошеломлённого и потрясённого таким началом проповеди скромного сельского библиотекаря.

Я хотел было спросить, как это всё работает, но не решился прервать его и благоразумно молчал. Тактика моя увенчалась успехом, ибо он снова разразился пламенной речью, почему-то грозя мне пальцем:

— Мы должны выяснить следующую взаимосвязь: что заставляет тебя совершать тот или иной поступок; что именно ты делаешь при этом и, наконец, почему этот ужасный мир в результате летит ко всем чертям!

Я кивнул и снова стал ждать; он посмотрел вниз и задумался.

— Как ты думаешь, с чего *всё это* начинается? — вдруг, как всегда неожиданно, прервал он своё молчание.

— Вы это о чём, Ваше Святейшество? Что начинается? В каком смысле начинается? — робко залепетал я. У этого Далай-ламы была странная манера выбивать вас из колеи, задавая вопрос, который вы менее всего ожидали услышать, тем самым лишая вас дара речи. А пока вы в полном смятении, заикаясь и с трудом подбирая слова, искали ответа, который, несомненно, был очевидным для него, он сидел и буравил вас своими глазищами.

— Повторяю последний раз: что заставляет нас делать то, что мы делаем, и говорить то, что мы говорим?

Я задумался на мгновение, и тут меня осенило. Я быстро отпарпоровал:

— Мы думаем! Мы сначала думаем, как бы нам сделать или сказать что-нибудь, а потом делаем. Всё начинается с мысли.

У Далай-ламы Первого отвисла челюсть от удивления, что я вообще способен дать правильный ответ. На его лице засияла широкая улыбка, которая была достойной наградой за весь предыдущий и — как чутьё подсказывало мне — последующий допрос, которому он подвергал меня в эту ночь.

— Правильно! Истинно так! — И он снова глубоко задумался. — Ну и сколько? — вновь возопил он, сверкая глазами и явно ожидая мгновенного ответа.

— Это... как его... а чего сколько-то, Ваше Святейшество? — почти уже шептал я, боясь опять вызвать его неудовольствие.

— Мыслей, конечно! Как это — чего?! — Казалось, он был потрясён моей неспособностью следовать за полётом его мысли. Его нимало не смущало, что он совершенно не утруждает себя выразить этот полёт словами, как нимало не смущал его и тот полёт, в который отправилась его монашеская накидка от постоянного размахивания руками и бесконечных наклонов вперёд-назад, покрывающая теперь скамейку и одинокий кирпич под ней.

— Как много мыслей ты успеешь передумать, пока я щёлкну пальцами? — Он выбросил вперёд свою ручищу, едва не попав мне в лицо, и немедленно щёлкнул. Точно так же поступали великие спорщики, участники философских дебатов, чтобы на несколько тысячелетий повергнуть своего противника в замешательство.

Я подумал, а потом догадался попробовать измерить продолжительность моей мысли в щелчках, после чего с уверенностью заявил:

— Около пяти щелчков, Ваше Святейшество. На одну-единственную мысль приходится около пяти щелчков.

Гендун Друб откинулся назад и скрестил свои могучие руки на мощной груди, которая к тому времени почти полностью вылезла из-под монашеской одежды. Его глаза печально смотрели на меня с какой-то даже болью, а уголки рта резко опустились вниз.

— Думай, — сказал он. — Думай же! Я не имею в виду те цельные мысли, у которых есть начало и конец, как у предложения, мысли, похожие на сформулированный вопрос или готовое решение. Я говорю о тех частицах или обрывках мысли, скорее даже импульсах, которые дают толчок твоим действиям или словам в минуту гнева или страсти! Вот те самые мысли, с которых всё начинается! Вот те самые зародыши тех могучих сил, которые создают бесчисленные миры и сферы бытия в нашей вселенной! Отвечай мне, но на этот раз хорошенько подумай! Сколько мыслей возникает, пока я... — И он снова ткнул мне в нос свои приготовленные для оглушительного щелчка железные пальцы и громоподобно щёлкнул.

Я было опять растерялся, пытаюсь что-то даже подсчитать, но на этот раз он и не ждал моего ответа.

— Шестьдесят пять! — значительно пророкотал он, как будто вещал истину, которая могла бы спасти мир, а может, и правда могла... Твой ум

совершает шестьдесят пять законченных дискретных актов мышления за то время, которое мне требуется, чтобы...

Грозный щелкунчик поднял руку, а я обречённо закрыл глаза и чуть было не заткнул уши, чтобы окончательно не оглохнуть от очередного грома, но вместо этого в воздухе повисла зловещая тишина. Выждав с минуту, я приоткрыл один глаз и увидел, что рука его тоже повисла в воздухе с пальцами в положении полной боевой готовности... Однако выстрела так и не последовало, потому что ум его убежал уже вперёд, и он, как частенько с ним бывало, совсем забыл, что собиралось делать тело.

— А понимаешь ли ты, — снова засверкал он глазами, пристально глядя на меня, — что каждый такой мыслительный акт оставляет отдельный отпечаток — чёткий и прочный — в твоём уме?

Эта мысль показалась мне вполне разумной — я знал, что некоторые эмоции вроде сильного гнева часто не покидали меня по несколько дней.

— Да не *такой* тип отпечатка! — зарычал он. Его опыт в искусстве философских дебатов, похоже, помогал ему предвидеть следующие ходы моего разума наперёд. — Я говорю о *мировых* отпечатках!

Моя робость, естественно, помешала мне спросить, что такое *мировые* отпечатки.

— *Мировой* отпечаток, — снисходительно пояснил он, будто разговаривая с малым дитя, которым в духовном смысле я ему, несомненно, казался, — это такой отпечаток в уме, который создаёт весь твой мир, всё в твоём мире. Это такой отпечаток, который служит причиной того, что ты не только *видишь* всё, что попадает на твоём жизненном пути, — людей, которых встречаешь, места, в которых оказываешься, события, которые с тобой происходят, — но и *воспринимаешь* это именно так, как воспринимаешь!

Пока я силился понять его слова, опытный полемист, вышедший победителем из многих дебатов, внимательно смотрел в мои глаза, отслеживая через их малейшие подрагивания ход моего мыслительного процесса и точно определяя, в каких ещё аргументах, в какой ещё помощи я нуждаюсь.

— Вот представь, — начал он приводить пример, — что старший хранитель книг в той библиотеке, где ты работаешь, только что накричал на тебя за ошибку, которую ты сделал, да ещё как накричал: в

присутствии управляющего имением и всей прислуги. Тебя охватывает приступ гнева, и ты, в свою очередь, тут же достойно ему отвечаешь. Подумай об этом пиковом переживании гнева как о глубоком отiske, который отпечатывается в твоём уме, как о семени, которое ты бросаешь в плодородную почву своего ума. А что нам известно про семена?! — как всегда, пронзительно закричал он, но к тому времени я уже начал понимать, что это его обычная манера разговаривать, и на этот раз не испугался.

— Про семена... — Ответ казался мне чересчур уж простым, но я надеялся, что ему понравится. — Ну, семена прорастают, а потом превращаются в растения.

И снова он одарил меня своей широкой радостной улыбкой, подтверждающей правильность моего открытия, — улыбкой, в которую он вложил всю мощь своего духа, некогда превратившего его тело в груды стальных мышц.

— А ведь верно! Ты прав... на все сто! Соображаешь ведь, когда захочешь! — И он снова впал в задумчивость.

— А как всё-таки действуют семена? — спросил он, искоса бросив на меня быстрый взгляд, как будто приготовил мне какую-то ловушку.

— Ну, думаю, начать следует с того, — отвечал я, не особо задумываясь, — что из хороших семян вырастают хорошие растения, а из плохих, соответственно, плохие. То есть из семян сладкого персика не вырастет какой-нибудь жгучий перец, и наоборот. Типа что посеешь, то и пожнёшь. От плохого семени не жди хорошего племени.

У него опять отвисла челюсть от удивления и загорелись глаза.

— Ну ты даёшь! Молодец! Всё так и есть! Абсолютно верно!

Я жмурился от удовольствия.

— Итак, если отпечаток, или семя, посажено в уме негативной мыслью, пагубной мыслью, то мы можем сказать с полной уверенностью, что ничего хорошего из этого не выйдет, что никакого положительного результата не предвидится, что этот *мировой* отпечаток никогда не сможет сотворить такую часть нашего мира, которую можно было бы считать приятной. Так?

Железная логика, и я кивнул.

— И наоборот: если человек питает возвышенные чувства, если

мыслит сострадательно, то это никогда не приведёт к негативным отпечаткам, а всегда будет порождать только положительные отпечатки, такие отпечатки, которые создают приятную часть или область нашего мира. Верно?

Не поспоришь, и я снова кивнул.

— Отлично! — воскликнул он в полном восторге, как будто я совершил недюжинный интеллектуальный прорыв. — А вот... что ещё мы можем сказать о том, как работают семена?

Я стал думать о семенах вообще и вспомнил хижину в горах к северу от нашей степи, куда мы частенько ездили в детстве. Как-то раз сильная буря повалила огромную сосну прямо на наш домик, отец дал мне в руки топор и послал меня на крышу обрубить сучья, пока стропила не прогнулись под страшным весом могучего ствола. Помню, как дрожали мои колени, ведь я и тогда уже боялся высоты. Помню, как к моему ботинку, измазанному смолой, прилипло сосновое зернышко, и я пожалел, что меня не оказалось здесь, когда такое же семя этой громадной сосны ещё только-только проклюнулось из земли. Я раздавил бы этот росток всё тем же ботинком или выдернул бы его из земли и не сидел бы сейчас на этом стволе, чей вес, наверное, в миллионы раз превосходит вес того зёрнышка, что дало ему жизнь. Вот почему я ответил Далай-ламе Первому:

— Размеры семян невелики, семена бывают крошечные, а вот то, что из них вырастает, может оказаться несравнимо большим, в миллионы раз большим по размеру.

Его руки взлетели вверх, как будто он только что финишировал, обогнал целую толпу опасных соперников в состязаниях по бегу и стал чемпионом.

— Ура! Блеск! Правильно! Великолепно! — какое-то время победно выкрикивал он, а потом продолжил: — То же самое происходит и с семенами ума, с отпечатками, которые наши мысли оставляют в уме: даже самый ничтожный отпечаточек с течением времени и при соответствующей подпитке приводит к серьёзным результатам, именно он отвечает за создание крупных событий в нашем мире и в нашей жизни.

— Ментальные семена действуют точно так же, как и семена растений, да и почему должно быть по-другому? Вспомни ребёнка,

который в детстве прочёл книжку, вдохновившую его и во многом определившую всю его оставшуюся жизнь. Подумай о горстке людей, которые, сидя за столом, принимают некую программу, сформулировав и включив в неё определённые идеи, и задают тем самым направление развития великой нации на столетия вперёд. Такова мощь семян, созревающих в уме.

Далай-лама сидел и выжидательно смотрел на меня, как будто задал вопрос, но опять забыл его озвучить и не получил ответа. Я поторопился выдвинуть вслух одно предположение, потому что он, казалось, был весьма доволен, когда ему хоть что-нибудь отвечают, но страшно раздражался при малейшей задержке.

— Хочу кое-что добавить... — сказал я ему, снова вспоминая огромную сосну, — насчёт семян. Вот ведь если их не посадить, то они вообще не вырастут.

Далай-лама Первый начал подпрыгивать на скамейке, деревянные брусья которой задрожали от шлепков его мощных рук. Затем он захлопал в ладоши, как мальчишка, и закричал:

— Именно! Именно так! Если в уме не было скверной мысли, то в нём не будет и отпечатка, порождающего скверный мир. Но пропусти благую мысль, и ты потеряешь отпечаток для доброго мира. Разве нет? — риторически спросил он и сверкнул было в мою сторону глазами, но на этот раз я был готов.

— Я ещё вот что подумал, — сказал я, ободрённый его реакцией, обнаружив, что и сам больше не сижу на траве, а балансирую, стоя на коленях и размахивая руками. — Стоит лишь посеять семя, и если посеять его как следует, и если это хорошее семя, и если оно вовремя и вдоволь получает воду, солнечный свет и всякие там питательные вещества, то никакая сила во вселенной не сможет помешать ему превратиться в дерево.

Он чуть было не вскрикнул от удовольствия:

— Прямо в точку! Итак, у нас теперь есть четыре принципа семян, не важно, куда посаженных — в землю или в ум. Что посеешь, то и пожнёшь: хорошие семена дают хорошие всходы, плохие семена — плохие; семена всегда вырастают в нечто несравнимо большее, чем они сами; если семя не посеять, то ничего и не вырастет; правильно посеянные и ухоженные семена непременно вырастут!

Тут Гендун Друб посмотрел вбок на розовые кусты у северной ограды Сада; я инстинктивно последовал глазами за его взглядом, думая, уж не идёт ли к нам кто-нибудь ещё. А он так и сидел, полуобернувшись, на протяжении нескольких минут — такова уж была его манера размышлять. Пока он молчал, в голове моей всё вертелись одни и те же мысли. Я смог понять, как эти действия — мысли, которые я обдумываю, слова, которые говорю, поступки, которые совершаю, — оставляют тот или иной отпечаток в моём уме, но вот чего я никак не мог понять, так это то, как эти отпечатки имеют какое-то влияние на сотворение самого мира и людей вокруг меня. В то же время я чувствовал, что он предвидит эти мои мысли, и терпеливо ждал его комментария. Наконец его лицо снова обратилось ко мне.

— Не всё так просто, — начал он, — но позже, когда ты узнаешь больше, для тебя многое прояснится. А пока представь свой ум в виде чистого стекла. Всякий раз, когда ты обнаруживаешь, что думаешь о чём-то, говоришь или делаешь что-то, крошечное цветное пятнышко размером с точку помещается в это стекло. Представь, что пока это пятнышко находится вне поля твоего зрения. Время идёт, и цветная точка — это семечко внутри твоего ума — начинает созревать; то есть начинает вторгаться в твоё сознание. Сначала оно вместе с другими такими же пятнышками даёт росток, потом растёт и развивается, как любое растение, и вскоре покрывает всю поверхность стекла твоего ума узорами определённой формы и расцветки. То же самое непрерывно происходит и с другими семенами, и вот уже стекло становится настоящим калейдоскопом сменяющих друг друга цветных узоров, создавая иллюзию движения в твоём уме. Узоры складываются в образы, которые распознаются умом: долговязая фигура входит в прямоугольный проём двери, в округлой голове над этим всем открывается овальный рот, оттуда доносятся грубые звуки, и ум распознаёт, что это твой грозный начальник устраивает тебе очередной нагоняй за недостатки в работе библиотеки.

Я надолго задумался, а потом спросил:

— Ещё можно понять, как таким способом возникает единичный образ, — скажем, восприятие какого-то фрукта или цветка. Но, чтобы вот так же создать всё это огромное разнообразие мира, которое мы видим перед собой каждую секунду, требуется ежесекундное созревание многих тысяч умственных отпечатков или семян, а с учётом того, что время не

стоит на месте, и того больше.

На этот раз ответа не последовало. Далай-лама пристально смотрел мне глаза и попросту ждал, пока я сам всё не пойму. Я стал размышлять над тем, что на каждый щелчок пальцами приходится шестьдесят пять отдельных отпечатков, помещаемых в ум мимолётными импульсами моих различных чувств. Затем каждый отпечаток или зерно вырастает в миллионы раз подобно тому, как в миллионы раз увеличивается вес соснового семечка, когда оно превращается в могучее дерево. Поэтому вполне возможно, что эти отпечатки способны произвести те многие миллионы бит информации, которые требуются для того, чтобы создать и поддерживать непрерывность моих впечатлений о моём мире в течение хотя бы минуты. Но как насчёт содержания этих впечатлений? Что принимать за опыт положительных впечатлений, а что — за отрицательный опыт?

Я раскрыл было рот, но в ту же секунду, прежде чем я успел заговорить, Гендун Друб прижал палец к губам, призывая меня и на этот раз самому во всём разобраться. Да запросто! Ведь он уже научил меня этому, и не то чтобы даже научил, а просто не оставил мне другого выбора, кроме как взять и научиться. Итак, если семена-отпечатки были хорошими, то и плод их созревания — событие моей жизни или некое переживание — также будет хорошим; и наоборот, если отпечатки были плохими, то и переживания тоже. Из сливовой косточки вырастают сладкие сливы, из лимонных семечек — кислый лимон, и никто не сможет изменить этого хода вещей. Боль моей собственной жизни произошла из того, что ещё раньше я подумал, сказал или сделал нечто причинившее боль, навредившее кому-то другому. Как только эта мысль созрела в моём мозгу, целые сферы непонимания начали исчезать перед моим умственным взором, лопааясь как мыльные пузыри; десятки вопросов жизненной важности были разрешены в единый миг. А потом меня снова обуяли сомнения.

— А как же моя мать? — спросил я. — Женщина, никому не сделавшая зла, почти не ведавшая скверных мыслей, никого не обидевшая и не оскорбившая ни словом, ни делом! Уж она-то точно не посеяла ни одного настолько худого семени, которое могло бы принести такой ужасный плод и заставить её долгие годы мучиться от рака, поедавшего её тело и в конце концов разорвавшего её сердце!

— Да кто ж тебе сказал, что это *она* посеяла такое семя?!

— Подождите, вы хотите сказать, что кто ни попадя может посеять в моём уме отпечатки, и я буду вынужден пожинать плоды деяний другого человека?! Это нелогично, это несправедливо, так не пойдёт! — возмутился я.

— То, что я хочу сказать, я скажу, — снова сказал он всё с той же мягкой решительностью, как будто осторожно вёл меня вдоль края бездонной пропасти. — Так вот никто не может посеять мировые отпечатки в нашем уме, кроме нас самих. Да и мы не можем посеять их нигде, кроме как в своём уме.

И вдруг до меня дошло... Новое знание принесло мне и сильную боль, и вместе с тем радость, ибо в этот момент я осознал ещё одну великую истину.

— И долго? — сказал я, не сомневаясь, что он обязательно поймет смысл моего незатейливого вопроса.

— Эти отпечатки, мировые семена, могут в некоторых случаях созревать в уме, являясь причиной того, что мы видим те или иные оттенки мира, в котором живём, встречаем тех или иных людей, ещё до того, как умрёт это тело; то есть до того, как ум отправится в другую сферу бытия. Но так происходит далеко не всегда, обычно мы тащим с собой из жизни в жизнь бесконечное количество семян-отпечатков — кармических следов, оставляемых в уме мыслями, словами и поступками этого и многих предыдущих воплощений. Твой мир, твоё восприятие этого мира, все впечатления и события твоей жизни, как внешние, так и внутренние, были в большинстве своём запущены в далёком прошлом, сознательной памяти о котором у тебя нет. Вот почему, — проговорил он, и умные глаза его, обращенные на меня, наполнились слезами, — хорошие люди так страдают.

Я кивнул с облегчением, ибо всегда знал, что на этот вопрос, который неминуемо встанет перед каждым из живших и живущих на земле, должен был найтись именно такой — простой и ясный — ответ. И тут же другой вопрос пришёл мне на ум: «Что именно делает одни отпечатки или семена сильнее, чем другие, а результаты их созревания в уме более жестокими? Почему один отпечаток вызывает многолетние страдания от неизлечимой болезни, а другой — всего лишь безобидную царапину на пальце?»

— Всякая жизнь священна, и любая жизнь одинаково ценна; но разве

не будет большим злом убить великого доктора, который спасает тысячи жизней, чем пристрелить бродячую собаку?

— Убийство доктора принесёт гораздо больше вреда людям, — ответил я.

— А значит, и отпечаток будет намного сильнее, — продолжал Далай-лама. — Это касается всех, кто оказывает тебе содействие: например, твоих родителей, и особенно Коренного Учителя. Любое добро или зло, сделанное таким людям, создаёт исключительно глубокий кармический след.

— Насчёт своих родителей я полностью согласен, — заметил я, — они отдали мне все свои силы, посвятили мне всю свою жизнь. Но есть у меня друзья, чьи родители ещё в детстве махнули рукой на их воспитание; думаю, в этом случае и отпечаток будет слабее.

Он ответил на моё замечание не просто сердитым взглядом неодобрения или нахмуренными бровями; казалось, всё его мощное тело полыхает гневом.

— Только в этом бестолковом теле, которым ты сейчас обладаешь, — прошипел он, едва сдерживаясь, чтобы не разразиться бранью, — твой ум способен иногда ясно мыслить, делать выводы и следовать духовному Пути, освобождающему от океана страданий, в котором блуждает бесконечное количество живых существ с безначальных времён. И поэтому уже за одно только участие в создании такого тела и ума в твоей вселенной твои родители должны быть причислены к лику святых, независимо от их дальнейшего отношения к тебе и твоему воспитанию. Как только семя посажено, что-то изменить уже очень трудно, поэтому мой тебе совет — если, конечно, ты желаешь себе добра, — изучи вопрос как следует, чтобы больше не наступать на эти грабли. — Он помолчал, успокаиваясь, а затем продолжил: — На силу отпечатка влияют и другие факторы. Один из них — побудительная причина, или, как теперь говорят, мотивация. Как ты знаешь, в твоём мире существует всеобщее заблуждение, которое гласит, что ум прекращает жить со смертью тела. Люди даже не подозревают, что ум должен продолжать свой путь, им и в голову не приходит, что после смерти тела он чаще всего попадает в какое-нибудь страшное место, полное невыносимой боли. И потому в истории человечества были случаи, когда люди убивали своих родителей, потому что те были старыми и ужасно страдали, а может быть, даже и сами просили убить их, устав от болезней и беспомощности. Так вот

когда такие дети совершали это одно из самых тяжких преступлений, которое только может совершить человек, то соответствующий отпечаток был всё же несколько слабее благодаря их пусть ложно понятой, но всё же сострадательной мотивации, ведь они искренне желали избавить отца или мать от мучений. Это относится и к тем случаям, когда мы наносим вред случайно или неумышленно, под действием импульса.

Итак, мы видим, что насаждение этих кармических семян-отпечатков в уме в значительной степени диктуется тем, насколько люди осознают те поступки, которые совершают, те слова, которые произносят, или те мысли, которые обдумывают, находясь в самом процессе выполнения всех этих действий. Отсюда вытекает и другой фактор — фактор отождествления: а понимаем ли мы, с какой личностью имеем дело, кому именно помогаем или вредим?

Например, в этом мире есть страны, где люди не представляют себе, что ум обретает тело уже при зачатии, при оплодотворении яйцеклетки матери спермой отца. Это происходит опять-таки из-за того, что они путают рост тела из кожи, плоти, костей и крови с развитием ума, который в корне отличается от любой материальной вещи, — он невидим, прозрачен, познающ, невесом, неопишуем и неизмерим. Поэтому они не называют убийством искусственное прерывание беременности, приводящее к смерти зародыша, который они вообще не считают живым существом. И снова этот — пусть ужасный и долгоиграющий — неизбежный отпечаток, появляющийся в их уме, будет не таким сильным, как если бы они отождествляли утробный плод с чем-то осознающим и одушевлённым.

Теперь твоя очередь. Скажи мне, что ещё в наших намерениях или мотивации может усилить некое деяние — поступок, слово или мысль, — приводя к более глубокому отпечатку в уме?

Наша беседа, казалось, вошла в спокойное русло, да и Далай-лама Первый, похоже, слегка подобрел и смягчился, поэтому я не торопился с ответом. Спокойно поразмыслив, я сказал:

— Думаю, что если действие совершается с очень сильными эмоциями — сгорая от страсти, в пылу гнева или, наоборот, пребывая в сострадательной любви, — то это может сделать отпечаток более сильным.

— Грандиозно! — рявкнул он, как внеурочно разбуженный лев. —

Неужели опять придётся думать и говорить второпях, вот незадача! А как насчёт того, совершаешь ты что-то или не совершаешь?

Я слегка растерялся.

— Вы о чём? Мы ведь вроде говорим о тех вещах, которые люди сказали, сделали или подумали.

— Я в том смысле, что вот задумал ты, к примеру, убийство, но не довёл дело до конца, — протараторил он более чем нетерпеливо.

— Полагаю, что отпечатка нет, — осторожно начал я, но тут же увидел свою ошибку и поспешил исправиться. — То есть имеется только отпечаток намерения и планирования убийства, но нет отпечатка самого поступка, в данном случае убийства другого человека.

— Верно. — К моему облегчению, он никак не отреагировал на мой промах, а продолжал вопрошать: — А вот предположим, что ты всё-таки ударил ножом. Попадёт ли в твой ум отпечаток убийства живого существа?

— Это как когда, — ответил я. — А вдруг он не умер? А вдруг он только ранен и скоро пойдёт на поправку?

— И опять в яблочко! — громогласно объявил Далай-лама. — Итак, что мы имеем? Чтобы отпечаток был идеальным — чтобы семя, не важно, худое или доброе, укоренилось, проросло и созрело до заметного события нашей жизни, — необходимо, чтобы соответствующий поступок, слово или мысль, помещающие этот отпечаток в наш ум, были направлены на объект, имеющий большое значение; мы должны чётко осознавать, что это за объект; мы должны иметь ясную мотивацию и действовать обдуманно; во время исполнения должна присутствовать устойчивая эмоция; действие должно быть совершено; мы должны довести задуманное до конца, быть уверенными, что довели его до конца, и принять на себя ответственность за содеянное. При выполнении всех этих условий семя, посаженное в уме, будет глубоким и мощным.

— Но хоть как-то повлиять на эти семена можно? — задумчиво спросил я. — Разве они не похожи на все другие вещи, подверженные изменению; разве нет у них причин, разве иные факторы на них не воздействуют? Вот в обычном мире, где можно посеять здоровые и сильные семена, существуют же способы прервать их рост и окончательное созревание: можно лишить их света или влаги, можно выжечь плодородный слой почвы, в котором они лежат, наконец, можно

попросту вырыть их из земли и бросить на голые камни, где они погибнут.

Потому что мне кажется, — вдруг осенило меня внезапное озарение, — что любой из нас за какие-то несколько часов, если не минут, проведённых, например, в раздражённых чувствах, злобе на попутчиков или на сами тяготы путешествия, накапливает буквально тысячи доминирующих кармических семян, большинство из которых — негативные. И если нет никакого способа воздействовать на семена, — эгоистично озабочился я, — тогда все мы, несомненно, обречены на почти бесконечные страдания.

— Именно, — искренне отозвался Далай-лама, глядя на меня в глубокой задумчивости, слишком глубокой для обычно бурного проявления восторга по поводу моей сообразительности. — У нас так много семян, почти бесконечное количество кармических отпечатков, находящихся в глубинах нашего ума. Если бы нас попросили составить список негативных мыслей, злобных слов или скверных поступков, которые мы довели до завершения за последние несколько часов, то мы непременно упустили бы из виду подавляющее большинство из них, потому что они так быстро мелькают в нашем уме и в жизни, что аж в глазах рябит. Однако каждое из них скрупулёзно и беспощадно записывается в приходную книгу нашего сознания, чтобы в один не очень прекрасный день предъявить нам многократно выросший счёт. Так что нет ничего удивительного, что любой мыслящий человек, который осознал ужасную власть кармических отпечатков и тяжесть последствий их неизбежного созревания, задаёт именно такой вопрос, до которого и ты наконец только что додумался.

Он бросил быстрый взгляд на луну, отметив её положение на ночном небосводе и, видимо, определив, который час. На какой-то миг мне показалось, что он встанет и уйдёт, так и не ответив, но когда его лицо — всё в отблесках чистого белого света небесной лампы — снова оборотилось ко мне, я вдруг увидел в его глазах до боли знакомое выражение блаженной медлительности. Казалось, что если Далай-ламе придётся просидеть на этой скамье до конца своих дней, объясняя мне то, что он собирался сейчас сказать, то и тогда он сделает это с радостью, лишь бы я до конца его понял.

— Ты должен в совершенстве овладеть искусством удаления из своего ума отрицательных отпечатков и ускорения развития отпечатков

положительных.

Второе я должен оставить Другому, тому, что придёт за мной. А сам в эту ночь научу тебя первому — искусству очищения ума от негативных кармических следов. Если точно следовать методу, который я тебе сейчас преподам, то можно полностью удалить или свести до минимума, почти до нуля, даже самые сильные отпечатки. Например, мощнейший след, оставленный в твоём уме убийством человека — след, который в обычном случае служит причиной того, что твой ум видит, как тебя самого убивают, причём неоднократно, — можно уменьшить до мизерного отпечаточка, ненадолго вызывающего пустячную головную боль.

Очищение негативного отпечатка начни с укрепления себя в добродетели. Для этого мысленно призови в свой ум Просветлённых и своего Коренного Учителя, препоручи себя их руководству и заботе, обратись к тем урокам, что они тебе преподали, вспомни, какую огромную пользу ты, в свою очередь, сможешь принести всем живым существам, если до конца пройдёшь ради них Путь к свободе, став способным указать этот Путь другим.

Следующий шаг в подавлении отпечатков состоит в тщательном обдумывании последствий совершённых тобой негативных деяний; ведь если верно всё то, о чём мы говорили в этом Саду, то каждый в отдельности и все вместе вредные поступки, слова и мысли, которые ты некогда позволил себе, приносят огромный вред только тебе самому. Это размышление есть разновидность разумного сожаления, которое позволяет тебе ясно понять, какой ущерб ты нанёс себе, действуя или говоря негативно, но никак не беспомощное чувство вины, бесплодного раскаяния и собственной греховности, в которое так часто впадаешь ты и тебе подобные. Думай, думай хорошенько, рассуждай логически и ясно осознай, сколько вреда ты себе приносишь всякий раз, когда сажаешь в своём уме дурное семя.

Третий шаг — самый эффективный и, пожалуй, самый необходимый, что-то вроде пробного камня, с помощью которого ты можешь наперёд сделать вывод о том, удалось ли воздействовать на тот отпечаток, который хочешь изменить. Он заключается в твоей решимости впредь не совершать действия, произносить слова и лелеять мысли, которые прежде всего и привели к появлению в уме такого отпечатка.

Пусть то, что я тебе скажу сейчас, останется между нами, — и Далай-

лама Первый вдруг улыбнулся мне, как будто я его родной сын. Мне в тот момент даже показалось, что вся его напускная строгость была всего лишь намеренной проверкой моей искренности и силы воли. — Я тебе советую не принимать такого решения, что ты, мол, *никогда* не повторишь негативное деяние — например, что никогда не будешь злиться на вышестоящих, которые отчитали тебя на чём свет стоит, — потому что на твоём теперешнем уровне ты ещё не сможешь этому следовать и только усугубишь ситуацию, добавив к негативному отпечатку гнева другой, очень мощный отпечаток, возникающий из лжи. Попробуй для начала устанавливать себе какой-то конкретный временной интервал: например, обещай себе, что не будешь отвечать гневом на чьи-то нападки, скажем, в следующие двадцать четыре часа.

И, наконец, четвёртый шаг, который заключается в выборе некоего действия, которое ты можешь предпринять в качестве противоядия дурному отпечатку, возмещения или своего рода компенсации того вреда, что ты наделал своими поступками, словами и мыслями. Вот, скажем, убил ты кого-нибудь в бою, причём убил сознательно. В этом случае ты можешь решить провести часть своей жизни, работая в больнице, сохраняя людям жизнь и здоровье.

Но самое сильное противоядие из всех, — тут Его Святейшество встал со скамьи и величественно обернул свой мощный торс в монашескую накидку, наконец подобрав её с земли, — состоит в том, чтобы учиться, учиться и овладевать тем знанием, которое сможет сделать тебя и всех остальных полностью свободными от всех видов страдания и боли. Этот путь познания начинается с того обучения, размышлений и созерцания, навыки которых ты уже обрёл здесь, в этом Саду, и достигает своей высшей формы в глубочайшем понимании того, как работают эти отпечатки. А это уже касается внутренней взаимосвязи между отпечатками и самой *пустотой*, о чём ты позже обязательно узнаешь.

Этой ночью я показал тебе достаточно для того, чтобы ты понял, что кармические следы, которые оставляют в твоём уме твои собственные деяния, и правда существуют; что они играют определяющую роль в созидании самого твоего существования; и что ум твой можно практически полностью очистить от этих отпечатков. Ну а теперь дело за тобой! Хорошенько обдумывай те выводы, к которым мы с тобой вместе пришли сегодня; думай как следует, так, словно от этого зависит и твоя собственная жизнь, и жизнь всех остальных существ.

Глава 8



СОЗДАВАЯ СВОЙ МИР. ГУНАПРАБХА

Встреча с Его Святейшеством Далай-ламой Первым была для меня, наверное, самой важной из всех. Как он и предсказывал, эта ночная беседа оставила мне много сырого материала для десятков важных открытий, связанных с постижением жизни, открытий, которые я совершал каждый божий день, размышляя над нашим разговором.

Одним взмахом меча я разрубил множество узлов, найдя ответы на многие вопросы моего бытия, которые считал наиболее важными. Правда, поначалу мне было не так просто усвоить теорию умственных впечатлений, управляющих моим восприятием самого себя, окружающего мира и людей в этом мире, но со временем я понял, что эти трудности были связаны с представлениями той культурной среды, в которой я вырос, а вовсе не с ущербностью самой концепции, которая была логически безупречна и объясняла почти всё, что меня на тот момент интересовало.

Но самое главное — слова Далай-ламы полностью объяснили причину страданий моей матери в частности, а также и вообще то, почему добродетельные люди могут испытывать боль и лишения, а негодяи, приносящие людям вред и несчастье, вполне могут какое-то время процветать и даже прекрасно себя чувствовать. Эта идея о происхождении вреда снова и снова приходила мне в голову: Его Святейшество говорил, что переживания боли и страданий были результатом негативных впечатлений, а те, в свою очередь, появились там вследствие вредоносных деяний по отношению к окружающим.

Однако, как любое мыслящее существо, я знал, что пользу и вред, добро и зло не всегда так уж просто различить; если же эта теория кармических впечатлений и того мира, который они создают, истинна, то именно правильность этого выбора между добром и злом становилась жизненно важной. Кроме того, хотя вопрос об источнике страданий моей матери становился для меня всё более и более ясным, я по-прежнему ничего не узнал о том, где она могла бы сейчас находиться и как я могу ей помочь. И наконец, мне показалось, что я стал лучше понимать тайну

златовласки, которая когда-то привела меня в Сад, ибо теперь я чувствовал, что в конечном счёте получу ответы на все свои вопросы, если смогу разгадать секрет того, как она впервые появилась, как она без слов учила меня, как испытать то райское блаженство, которое излучало её тело и которое лилось из её томных глаз.

Вот так и получилось, что меня снова, уже в который раз, потянуло в Сад. В пустыне была осень, своя, особенная, пустынная осень, которая не меняет цвет листьев и не обнажает ветви внезапным листопадом, открывающим взору черноту древесных стволов. Просто стал всё чаще задувать приятный остужающий ветер, просто мало-помалу становился ощутимей перепад температур между дневной жарой и ночной прохладой. Хорошо помня мою последнюю встречу в Саду, проведённую под чинарой возле скамейки, я прошёл через калитку, напрямик отправился туда и почтительно сел на траву у подножия этого скромного деревянного сиденья, как будто это был трон, ожидающий прибытия великого Царя, хотя меня и не покидала надежда, что это будет всё-таки царица.

Он вошёл в калитку с величавым изяществом в аккуратной, складочка к складочке, монашеской одежде, излучающий элегантную благопристойность всем своим видом — уже просто даже тем, как канонически была согнута его левая рука с правильно перекинутой через неё монашеской накидкой, в совершенном порядке ниспадавшей к его колену. Уже одного этого было достаточно, чтобы понять, что передо мной величайший наставник искусства безупречной нравственности Учитель Гунапрабха, образчик совершенного монаха для всех времён и народов, который перенёсся через четырнадцать столетий в наши дни из своего славного времени — золотого века индийского монастырского буддизма. Он степенно уселся на скамью, неторопливо поджал ноги, скрестив их под монашеской одеждой, потом привёл в порядок своё облачение, чтобы оно свободно облегло его фигуру, властно и безмолвно приветствовал меня и застыл в своей величественной позе.

Гунапрабха был высоким мужчиной крепкого телосложения, стройным и бодрым, несмотря на возраст, — думаю, ему было порядком за семьдесят. Помимо некоей ауры этикета, внешних приличий, которые так и сквозили во всех его манерах, самым впечатляющим был немигающий взгляд его широко открытых круглых глаз, казалось, принадлежащих не человеку, а старому мудрому филину. Плотные сжатые

губы наводили на мысль, что ими нечасто пользуются для разговора, руки совершенно неподвижно лежали внизу живота в характерном для медитации жесте, а пальцы время от времени шевелились, перебирая небольшие чётки. Он сидел, слегка откинувшись назад и приподняв подбородок, и спокойно смотрел на меня в ожидании.

Я почувствовал, что должен заговорить первым, и выбрал один из множества вопросов, которые принёс с собой, постарался чётко сформулировать его, а потом сказал с подобающим его почтенному облику уважением:

— Как нам дано знать, что правильно, а что ошибочно?

Он продолжал неотрывно рассматривать меня, не издавая ни звука, затем опустил взгляд на свои руки с чётками, прочистил горло и внезапно снова вперился в меня:

— Хорошие деяния оставляют в уме отпечатки, которые делают твой мир приятным. Плохие деяния оставляют в уме отпечатки, которые делают твой мир неприятным.

— Но как нам отличить, — продолжал я после почтительной паузы, — как безошибочно определить, какие виды деяний оставляют отпечатки, создающие приятные вещи в нашем нынешнем мире, а какие — наоборот?

— Только Просветлённый, — его ответ прозвучал чётко и быстро, как команда, как выстрел, — может ясно видеть, какие разновидности отпечатков и какие разновидности деяний, оставивших в уме эти отпечатки, определяют конкретные — все и каждую — подробности нашей жизни.

— Но ведь правда же, что каждая мельчайшая подробность нашего мира, равно как и все подробности существования нас самих, а также всех, кто нас окружает, определяется нашими кармическими следами, оставленными тем, что мы сказали, подумали или сделали в прошлом?

— Правда, — ответил он и снова уставился на свои руки и чётки.

— Все-все? Каждая дождинка, коснувшаяся моей щеки, каждая снежинка, упавшая мне на губы, каждая линия в малахитовом узоре, каждая чёрточка лица, цвет волос и оттенок глаз моей любимой, солнечное затмение, фазы луны, мимолётная грусть и беспричинная

радость?

— Именно, — ответил монах и опять опустил взгляд.

— То есть мы должны знать наверняка, какие действия хорошие, а какие плохие, какие поступки посеют безупречные семена, которые позволят нам увидеть себя Просветлёнными. Вас послушать, так, для того чтобы стать Просветлёнными, мы уже должны быть Просветлёнными, — разгорячился я.

— Изучай первоисточники, — кратко ответил он, не поднимая глаз.

— И если изучить их как следует, — ответил я после краткого раздумья, — тогда теоретически мы сможем точно распознать те действия, слова и мысли, которые создадут наш будущий мир полностью совершенным; мы сможем полностью избежать тех деяний, которые могли бы вызвать любое зло в нашем мире.

Гунапрабха оторвал свой немигающий взгляд от ладоней и сурово молвил:

— Это не теория; ты сможешь сделать это на практике, как смогли бесчисленные святые прошлого.

— Тогда научите меня, какие действия будут сеять правильные семена, а то я просто изнываю от страданий этого мира, а точнее, от понимания, к которому я наконец пришёл, что весь этот мир — одно сплошное страдание.

— Назови мне любое страдание твоего мира, а я точно опишу тебе действия, которые, по мнению Всеведущих, привели к его появлению.

Я не думал ни секунды.

— Смерть. Какое действие оставляет в уме отпечаток, который заставляет человека видеть себя умирающим от ужасной неизлечимой болезни?

— Убийство. Лишение жизни то есть.

— Значит, если нам удастся не лишить жизни ни одно живое существо, будь то человек или животное, то мы никогда не умрём такой страшной смертью?

— Воистину так, но остаются ещё отпечатки, которые мы посеяли до того, как решили больше не отбирать жизнь.

С минуту я размышлял над теми предыдущими отпечатками:

— А если мы очистили эти старые кармические следы, используя четырёхшаговый метод, который удаляет их из ума?

— Тогда ты вообще никогда не должен будешь умирать в таких муках.

Мне показалась, что молния ударила в землю прямо передо мной; мне показалось, что я узнал тайну Чаши святого Грааля, бесплодными поисками которой человечество занимается с первых дней своего существования. Просветлённая грусть охватила меня: мне казалось, что я переживаю некий переломный момент в жизни целой империи или даже планеты, причём переживаю его с полным пониманием того, что и почему происходит и чем всё это кончится, но вот поделать ничего не могу.

— А бедность? Почему люди живут бок о бок в одной и той же стране, на одной и той же земле, под тем же солнцем, небом и дождём, но у одного достаточно или даже слишком много пищи, а другие вокруг голодают и умирают от истощения?

— А не надо было воровать: то есть брать то, что тебе не принадлежит.

Сначала всё это мне показалось весьма правдоподобным, но потом яд сомнения проник мне в душу, разрушая всё логическое построение, касающееся добрых и скверных деяний и их кармических следов.

— Но мне часто попадались бизнесмены и спекулянты, которые постоянно воровали, годами обманывая других, а жили на доходы от такого своего воровства припеваючи — дай бог каждому.

Подбородок наставника приподнялся чуть выше, он взглянул на меня сверху вниз с лёгким оттенком негодования. При этом глаза его оставались неподвижными, он так ни разу и не моргнул.

— А кислые лимоны, которые выросли из косточек сладкого персика, тебе не попадались? — спросил он почти саркастически.

— Нет, — сказал я, — ни разу не встречал ничего подобного. Ибо это никак невозможно, чтобы из семени сладкого фрукта вырос кислый фрукт или чтобы из злака вырос овощ. Семена и фрукты, зародыши которых они в себе несут, всегда одного и того же типа: сладкие порождают сладкие, кислые — кислые.

— Но ведь ты только что сказал, что негативное действие может иметь

положительный результат.

— Во всяком случае, это выглядит именно так.

— Да-а... — протянул монах и с грустью посмотрел на свои ладони, сложенные на скрещенных ногах. — Да, выглядит так. — Он вздохнул и тихо продолжал: — А ведь один только этот факт является источником страданий и несчастий всего мира. Нам кажется, что, жульничая, обманывая или вводя других в заблуждение, мы можем обогатиться, преуспеть, а на деле мы просто обманываем самих себя, лишаясь счастья на долгие-долгие годы, да и годы ли? Может быть, жизни? Теперь хорошенько подумай, — продолжал наставник, — из всех сил подумай. Может ли фруктовое дерево, вырастающее из косточки, появиться в тот же момент, когда эту косточку сажают, или часом позже?

— Нет, никогда. Требуется много времени, чтобы дерево выросло из семечка, — это свойство заложено в самой природе семян и деревьев, так что немало воды утечёт, прежде чем семя станет деревом и, в свою очередь, даст плоды.

— А у тебя есть хоть один повод считать, что семена кармы в уме должны вести себя по-другому?

— Нет, — ответил я и впал в задумчивость. Поскольку я давно уже испытывал к этим вопросам устойчивый интерес, размышляя о собственной жизни, то сразу понял, о чём он толкует.

— Если следовать вашим рассуждениям, — начал я, — единственное, что может принести торговцу успех в бизнесе, — так это акт благотворительности: то есть нужно отдавать с целью удовлетворить нужды других.

— Именно, — прокомментировал он, впервые улыбнувшись успехам своего явно подающего надежды ученика.

— А единственным результатом мошенничества, обмана других является собственная нищета, — продолжал я.

Он опять улыбнулся и слегка кивнул.

— Таким образом, когда мы извлекаем прибыль, обводя кого-то вокруг пальца, то на самом деле наблюдаем два никак не связанных между собой события: созревание благого впечатления, оставленного нашей благотворительностью в прошлом, и сев новых семян собственной бедности, которую нам, и только нам, предстоит испытать в будущем.

Он снова кивнул.

Тут у меня в голове что-то взорвалось, и я возбуждённо выпалил:

— А это, в свою очередь, объясняет, почему одни люди вроде бы процветают на своём мошенничестве, другие бедствуют, независимо от того, жульничают они или нет, а третьи благоденствуют в обоих случаях! Мир как таковой работает вовсе не так, как нам кажется!

Наставник кивнул мне в ответ, тоже весьма возбуждённый, затем снова откинулся назад, ещё чуточку выше подняв подбородок и многозначительно глядя на меня, как будто собирался немедленно привести меня к очередному постижению.

— Если нечто действительно является причиной какого-то, скажем, события, — продолжал я с трудом продираться через дебри буддийской логики, — то при соблюдении нужных условий оно обязано всегда и постоянно вызывать это событие. Ну или не событие, а какую-нибудь вещь. Например, мы знаем, что жёлудь есть причина дуба, потому что, если присутствуют все необходимые факторы роста, из жёлудя непременно вырастет именно дуб, а не баобаб или другое какое дерево. Если бы мошенничество в бизнесе было настоящей причиной обогащения, то при прочих равных условиях мы, обманывая кого-то, всякий раз должны были получать прибыль. Но раз этого не происходит, то, значит, не жульничество приносит нам доход. Должен существовать какой-то другой фактор, являющийся истинной причиной благосостояния, который всегда, неизменно и безошибочно приводил бы именно к нему.

— И это — умение отдавать другим, — тихо заключил он, глядя на меня с отеческой гордостью.

В этот момент я почувствовал, что этим одним штрихом он почти завершил картину грядущего счастья — моего и всех, кто меня окружает. Могу без преувеличения сказать, что это был один из немногих важнейших моментов моей жизни.

Мысль моя вернулась к океану страданий этого мира и к тем, кто барахтался в этом океане вместе со мной.

— А вот взаимоотношения между людьми, — снова заговорил я. — Кажется, что они — источник огромного счастья в этом мире, и вместе с тем — причина такого же, да нет, ещё большего страдания. Некоторые семейные пары живут долго и счастливо, растянув медовый месяц на всю

свою жизнь, и даже умирают в один день, другие сначала сближаются, потом расстаются, третьи, похоже, с первых дней супружества обречены влачить серые безрадостные дни не в силах ни расстаться, ни начать всё сначала. Что же посеяло в уме этих несчастных такой мощный отпечаток, который не даёт им насладиться прелестями законного супружества?

— Супружеская неверность, — без колебаний отвечал монах.

Я было засомневался, вспомнив несколько случаев, о которых слышал, когда свято соблюдавшие свои супружеские обеты муж или жена безвозвратно теряли свою «половину» по вине какого-нибудь искушённого обольстителя, но быстро нашёл ответ на свой так и не прозвучавший вопрос, разделив нынешнюю причину для будущего семейного счастья и неминуемую расплату за прошлые похождения ныне добродетельного супруга или супруги. Логика лаконичной проповеди Гунапрабхи была безупречной. Это навело меня на мысль о другой разновидности страдания, которая всегда сильно тревожила меня. И я спросил:

— Мы часто видим в мире людей, которые говорят правду, чьи слова всеми воспринимаются с уважением. Но есть и явные лжецы, к которым тем не менее также прислушиваются. Третьи хоть и говорят правдиво, но их никто ни во что не ставит. А четвёртые опять-таки лгут что есть силы, но им также никто не верит.

— Те, кому верят, в прошлом говорили правду; те, кому не верят, в прошлом были лжецами, — коротко и ясно ответил монах. — Никогда не забывай байку про мошенника, который вроде бы процветает; не обманывайся внешним обличем, пусть тебя не сбивает с толку наружность. Смотри глубже, учись делать выводы, и ты увидишь то, что никогда не смог бы увидеть глазами.

Я кивнул и снова погрузился в анализ неприглядных сторон человеческого бытия. Мне пришло на память, что наиболее неприятные моменты моей жизни были связаны с подчас вынужденным пребыванием в компании дешёвых трепачей-острословов, которые всё время ссорились, постоянно подначивая друг друга, и грязно сплетничали за спиной о каждом, стоило ему только выйти из комнаты. Эта была та разновидность «приятелей», длительное общение с которыми превращало вашу жизнь в нескончаемый кошмар, в жалкое прозябание и, в конце концов, что ещё хуже, не в лучшую сторону влияло на ваш собственный характер. Я спросил, в чём была причина всех этих ссор и

злословия.

Он кивнул, показывая, что понял вопрос, и ещё раз бросил взгляд вниз, подтыкая складки своей монашеской одежды и в молчании усаживаясь поудобнее. Затем тихо вздохнул и заговорил:

— Разве ты не замечал, что люди этого мира очень хотят иметь друзей и поклонников, но стоит этим друзьям и поклонникам подружиться или ещё как-то сблизиться с кем-то, кроме нас, как мы сразу начинаем испытывать непреодолимое желание разлучить этих двоих, поссорить их друг с другом, и вот мы уже начинаем распускать сплетни, делать прозрачные намёки, имеющие целью добиться этого? Разве ты никогда не видел, как часто то, что мы говорим, имеет своей, подчас бессознательной целью отвести друг от друга тех людей, которым посчастливилось на кратчайший дозволенный им миг испытать радость дружбы и сладость любви? В этом и есть причина твоей ситуации, вот почему мы так часто обнаруживаем себя в компании вроде той, что ты только что описал.

И опять его слова показались мне абсолютно логичными, и я мысленно обещал себе быть особенно внимательным к подобной болтовне и сплетням, потому что предпочитал компанию людей достойных и благородных. И тут я вспомнил своего обидчика, раздражительного хранителя книг из той библиотеки, где я работал, — моего начальника — и попросил:

— Откройте мне, в чём причина той разновидности отпечатков, что заставляют нас слышать от некоторых из окружающих нас людей слова, которые всегда кажутся неприятными или даже агрессивными, но в любом случае направленными на конфронтацию; создаётся впечатление, что такие люди только и думают, как бы с тобой сцепиться.

— Причина этого в грубых словах, причём фактически, — тут Гунапрабха взглянул на меня, характерно пожав плечами, — не только обращенных к живому существу, но и адресованных неодушевлённому предмету и даже относящиеся к оценке какого-нибудь события. Можно обляять соседа или обругать его собаку, можно отпустить пару крепких словечек по поводу камня, о который ты споткнулся, можно сказать всё, что думаешь об очередной задержке экипажа, — итог один, и он тебе известен.

— А что, если люди, — продолжил я свой экскурс в личные обиды, —

не придают никакого значения нашим словам и ни во что не ставят наши предложения, заставляя нас думать, что мы вообще никуда и ни на что не годимся?

— Этому есть своя причина, — мгновенно отозвался он, как будто предвидя ход моей мысли, — и эта причина — суесловие, пересуды и пустопорожняя болтовня, настоящее проклятие человечества, медленно, но верно пожирающее жизнь огромного числа людей, засеая в их умах отпечатки невообразимых бед в будущем.

Я припомнил свои дружеские посиделки за чашкой чая с приятелями и задумался, сколь многое из того, что мы говорили тогда, являлось пустой тратой слов, настолько бесполезным сотрясанием воздуха, что уже спустя несколько часов почти невозможно было вспомнить, о чём вообще шла речь. Похоже, это распространялось и на те новости, которые мы читаем каждый день и за ночь благополучно забываем, чтобы расчистить место, и с утра пораньше опять расточительно тратить своё время на чтение свежих, столь же ненужных новостей.

Эта мысль потянула за ниточку другую: мне припомнилось сборище купцов на постоялом дворе неподалёку от моей библиотеки. Склонившиеся над бумагами с последними ценами и прогнозами, с головой ушедшие в деловые переговоры, заключение и расторжение сделок, торгующиеся до упаду и спорящие до хрипоты, они отдавали все свои силы приумножению и без того немалого состояния. Эта интенсивная деятельность до того изматывала их моральные и физические силы, что многие из них доводили себя до нервного истощения и неспособности продолжать свои дела, а иные прямоком отправлялись на кладбище, так и не успев толком насладиться плодами своих праведных трудов.

— А как называется то, — вспомнив этот постоялый двор, продолжал я вопрошать, — что заставляет некоторых людей посвящать всю свою жизнь погоне за приобретением всё большего числа всё лучших вещей; почему столь немногие способны довольствоваться тем достатком, который уже имеют?

— Это результат отпечатка, посеянного эмоцией страстного желания, стремления обладать чем-то: постоянное ревнивое внимание ко всему, что имеют, делают, умеют или знают другие, и непреодолимая, требовательная тяга завладеть этим.

Выслушав этот ответ, я подумал, что и сам стремлюсь занять должность хранителя книг в библиотеке, хочу уметь так же быстро, как он, ориентироваться в её многотомном собрании, стремлюсь овладеть его навыками не потому, что ищу знаний, которые могли бы принести пользу мне и окружающим, а только потому, что у него они есть, а у меня — нет. Может, мне лучше следует помогать ему, чем ставить палки в колёса своими мелкими пакостями, которые так его раздражают?

— Знаю я одного хранителя библиотечного собрания, помощник которого, — начал я, чисто из скромности не называя имён, — очень ему завидует, а потому почти не оказывает ему никакой профессиональной поддержки, вместо этого всячески отравляя ему жизнь по мелочам и доставляя массу неудобств на работе.

Не поднимая головы, монах прошил меня взглядом, как будто знал, о ком идёт речь, а его чуть приподнятые веки снова вызвали в моей памяти другое лицо: я вдруг осознал, что нечто подобное случилось на встрече с каждым из наставников, приходивших в этот священный Сад.

— Этот человек, — сказал он, тщательно подбирая слова, — пожинает плоды созревания отпечатка, посеянного в уме его собственной злой волей, недоброжелательством к другим. — Тут обычно невозмутимое лицо его исказилось гримасой: огромные глаза мудрого филина открылись ещё шире, избороздив лоб глубокими складками. Он снова глубоко вздохнул. — Как же всё у вас вывернуто наизнанку, — тихо продолжал он, — как странно, что вас приводят в восторг несчастья других. Два человека работают вместе, бок о бок, их карьера и удача зависят от успеха предприятия, где они трудятся, от их совместных, согласованных действий. И что же? Один ждёт не дожётся, пока другой потерпит неудачу, и когда это случается, вместо сочувствия будет извращённо радоваться и хлопать в ладоши.

И он бросил на меня быстрый, но многозначительный взгляд, прежде чем его глаза вернулись к прежним размерам и снова опустились вниз, остановившись на руках, держащих чётки. Какое-то время я сидел в смущении, тоже уставившись на свои руки, но новая беспокойная мысль заставила меня задать очередной вопрос.

— Все неприятности, доставляемые ему помощником, вызваны собственными кармическими семенами этого библиотекаря, посеянными в его уме злыми умыслами, которые он питал в чей-то адрес в прошлом, так? Значит, это его собственная вина, а помощник вообще ни при чём,

то есть его намерение навредить начальнику — это всего лишь созревание семян, посеянных самим этим боссом в своём же уме.

— Так-то оно так, но ты не забудь прибавить, что намерение этого «не помогающего помощника» принести вред обязательно доставит кое-кому те же самые неприятности, которые он надеется доставить теперь своему начальнику. И этот кое-кто — помощник собственной персоной.

— Но ведь для меня и помочь-то ему нет никакой возможности, — проговорился я, — ведь чтобы хранитель библиотеки смог принять мою помощь и счесть меня полезным, он *сам* должен был бы приносить пользу другим в прошлом.

На этот раз Гунапрабха гневно стрельнул в меня глазами:

— Ты ходишь по самому краю бездонной пропасти; ты держишь у самых губ чашу со смертоносным ядом. Ты готов прийти к поистине греховой мысли — мысли, которая сбила с толку столь многих из тех редких счастливых, что сумели дойти до того понимания, которого ты достиг в этом Саду.

— Вроде бы и говоришь ты всё правильно. Да, если мы видим, что кто-то страдает, то происходит это только потому, что он совершил поступки, произнёс слова или имел мысли, которые посеяли отпечаток в его уме, — отпечаток, который заставляет его видеть себя страдающим. И значит, это правда, что каждый несёт полную персональную ответственность даже за самую малую толику боли, которую когда-либо испытает. Также верно и то, что если мы попытаемся уменьшить их страдания и нам удастся принести им некоторое облегчение, то они почувствуют эту поддержку и её результат только потому, что переживают созревание в своём уме другого, позитивного отпечатка, плод которого воспринимается ими как вещь, именуемая облегчением.

— Но если ты сделаешь из всего этого вывод, что мы не обязаны из всех сил стараться помогать другим, утешать и облегчать страдания ближних, что не в этом состоит наша первейшая и даже абсолютная обязанность, что не в этом заключается сама причина, высший смысл нашего существования, то ты, друг мой, ошибся Садам. Всё, что ты изучил в этом святом месте, не пошло тебе впрок, ты обманул её ожидания, ты обманул ожидания наставников, что учили тебя здесь, ты обманул ожидания всех тех, кто в будущем смог бы воспользоваться полученными тобой знаниями, но больше всего ты обманул самого себя,

попусту растратив своё человеческое рождение. Ты — самое слабое звено! Вдумайся в мои слова, ведь ты уже начал осознавать их правоту.

И я действительно сердцем почувствовал ошибочность той мысли, которой чуть было не позволил утвердиться в своём уме. Гробовая тишина повисла после такой бури эмоций обыкновенно столь сдержанного и немногословного наставника. Некоторое время было слышно, как он пытается выровнять дыхание. Наконец он взял себя в руки и продолжил:

— Возможно, ты теперь спросишь меня, в чём же причина того, что подавляющее большинство живых существ так цепляется за идеи, касающиеся их мира и их жизни, которые столь очевидно ошибочны, вредны и разрушительны для нашего всеобщего счастья. Что же заставляет людей, должен спросить ты, питать все эти помыслы, которые столь очевидно и столь эффективно разрушают именно то самое счастье, ради которого предпринимаются все их действия, разговоры и размышления? Ответ заключается в том, что мы позволяем себе всё время держать в голове некую идею, которая в корне противоположна тому, что действительно приносит нам счастье. Ты уже узнал вкус истины, теперь ты знаешь, что действительно обуславливает наш мир, является его причиной, а значит, можешь себе представить, что именно то, как ты мыслил прежде, и то, как продолжает мыслить большая часть человечества, вызывает появление в уме наиболее вредных из всех кармических отпечатков.

Я боялся пошевелиться, опасаясь, что Учитель Гунапрабха не захочет продолжать разговор, а мои вопросы так и останутся безответными. Он продолжал сидеть, опустив взор, и отсчитывал на чётках какую-то неизвестную мне молитву. Внезапно он снова взглянул на меня своими огромными круглыми глазами и сказал:

— Спрашивай.

Я собрался с духом и продолжил с того места, где вспышка его гнева прервала ход моих мыслей.

— Вы так много говорили о семенах-отпечатках, посеянных в моем уме моими же прошлыми действиями и мыслями, вы убедительно продемонстрировали, как они могут влиять на моё личное восприятие. Но вы также всё время намекали на то, что они создают весь мой мир в целом. Объясните мне, имеете ли вы в виду также и внешний физический

мир, среду нашего обитания? Неужели эти отпечатки так сильны, что могут определять те элементы нашего физического мира, которые являются причиной нашего страдания?

— Назови такое страдание, и мы посмотрим, — удостоил меня ответом наставник.

— Как-то раз я путешествовал на Восток, — начал я свой рассказ, — и посетил две очень похожие и вместе с тем не похожие друг на друга страны. Они расположены на одной параллели, имеют практически одинаковый климат — им поровну достаётся дождей и солнечного света, — почву и рельеф. Я видел, что в обеих странах выращивают одну и ту же зерновую культуру, не помню сейчас уже какую, порой даже из одних и тех же семян. И всё же когда она, пусть это будет кукуруза, вырастает в первой стране, то мука, в которую её перемалывают, похоже, совсем непитательна, к тому же она низкого качества, всегда какая-то грязная, а люди, которые её едят, остаются тощими и выглядят измождёнными, иногда они даже болевают от такой скудной и некачественной пищи. А в соседней стране мука получается здоровой и сытной, население выглядит упитанным и пышет здоровьем. Помню, что и одни и те же лекарства действуют там по-разному; в первой стране они не лечат — скорее калечат, а то бывает, что ещё и убивают; во второй же любой препарат действует в точности так, как написано в инструкции по его применению: и лечит, как надо, и побочных эффектов не вызывает. Откуда ж такое различие, в чём провинился народ целой страны?

Причина опять-таки в лишении жизни. Люди первой страны в прошлом убивали живых существ, а их счастливые соседи этого не делали. — Я ненадолго задумался и продолжил: — Всё, что говорилось до этого момента о действиях и тех кармических следах, которые они оставляют, создало у меня впечатление, что мы несём персональную ответственность за те семена, которым мы позволили попасть в почву нашего ума. В результате я пришёл к выводу, что отпечаток может быть оставлен только в единичном уме. А теперь вы говорите о самом мире, о мире как таковом, об окружающей среде, в которой вместе живёт великое множество людей. Уж не намекаете ли вы на то, что один огромный отпечаток может разделить большая группа людей?

— Они разделяют не отпечаток, — сказал Гунапрабха задумчиво, как бы признавая важность моего вопроса. — Скорее дело в том, что эта группа людей в прошлом предприняла — именно как группа — какие-то

благие или вредоносные действия. Каждый член группы, таким образом, посеял схожий, хоть и различающийся в деталях мировой отпечаток, который по мере созревания заставляет их ощущать совместную реальность, как, например, плохой урожай в отдельно взятом регионе мира. При этом сила влияния этого неурожая на каждого из них слегка варьируется вследствие различных обстоятельств — например, индивидуальной мотивации — совершения общего действия в том самом прошлом. Этим, кстати, объясняются и внешние признаки отдельных наций, — продолжал он, — и те невидимые и на первый взгляд произвольно проведённые линии между странами, которые называются границами, и крайняя нищета по одну сторону такой границы, и чрезмерное благоденствие по другую.

— Значит, если две страны станут воевать, — продолжил я, — и если солдаты этих стран перебьют друг друга, то каждый гражданин любой из этих стран, который активно поддерживал эту бойню, посеет в своём уме индивидуальный отпечаток от совершения убийства.

— Верно, — ответил монах. — Каждый, кто поддерживает такие действия, даже отсиживаясь в глубоком тылу, получает такой же чёткий и глубокий отпечаток от совершения убийства, как и тот, кто спускал курок на передовой. Коллективная карма, чего же ты хочешь.

Это мгновенно навело меня на новую мысль, и я спросил в волнении:

— Значит, даже если какой-то стране угрожает другая, даже если войска подходят к её границам, чтобы уничтожить мирных жителей, и эта страна наносит превентивный удар, убивая солдат приближающейся вражеской армии, чтобы спасти своих граждан, то каждый гражданин всё равно получает в своём уме след от совершения убийства.

— Ну да, — ответил наставник и пристально посмотрел на меня. Его большие круглые глаза стали такими огромными, что лоб почти исчез.

Я и сам чувствовал, что мои мысли стали на вес золота, и, ободрённый, продолжал:

— А ведь отпечатки этих актов убийства в будущем заставят этих граждан испытать серьёзную угрозу их жизни, скажем...

— Скажем, наступление на их страну вражеской армии, — подхватил он со страдальческой улыбкой.

— Итак, можно сказать, — заторопился я, чтобы не упустить свою

мысль, — что сама эта вражеская армия, которая угрожает стране, была создана мировыми впечатлениями, созревшими в уме граждан этой страны, а посеяны были эти отпечатки в прошлом, когда они коллективно совершили акт убийства. Так?

— Всё так.

Солнце великого озарения взошло в моём уме.

— А значит, мы также можем сказать, что когда нация отвечает на угрозу убийства убийством, *то на самом деле снова создаёт ту же самую угрозу, которая обязательно вернётся к ней в будущем!*

Он с ликованием посмотрел на меня, театрально запрокинув голову назад, как композитор, только что закончивший дирижировать величественной симфонией.

— Получается, — заключил я, — что естественная реакция на неприятные события и подробности нашей жизни есть в действительности именно то самое действие, которое непременно заставит нас снова пережить точно такое же неприятное событие. Весь мир есть один большой вечный двигатель — цикл непрекращающегося страдания, неиссякаемым топливом которого служит наше неведение, поскольку мы неизменно отвечаем другим злом на то зло, которое они делают нам!

Гунапратха выглядел одновременно и торжествующим при виде моего постижения, и полностью убитым печальной истиной, к открытию которой меня подвёл. Мы помолчали.

— Да, но когда это всё началось? — снова спросил я. — Кто первым отнял жизнь и этим подверг свою жизнь опасности, избежать которой он мог, только снова и снова убивая и этим создавая для себя всё новую и новую угрозу?

— А почему обязательно должно быть начало? — задал он мне вопрос, кажущаяся простота которого — как я понял позднее, нередко в своей жизни возвращаясь к его обдумыванию, — делала его самым трудным из всех вопросов вообще.

— У всех вещей должно быть начало, — упорствовал я, — вы столько раз говорили, что у всего есть причина.

— Она действительно есть. Именно поэтому наше существование, тот ум, в котором разворачивается наша жизнь, не имеют начала.

— Что?!

— Вот сам подумай, — с оттенком нетерпения заговорил он, — но попытайся забыть то, чему тебя учили с детства; к этому времени ты уже должен был понять, как много из тех представлений о мире, с которыми ты вырос, были попросту ошибочными, просто детскими сказочками, передававшимися из поколения в поколение без малейшей попытки проверить их. А теперь хорошенько вдумайся. Представь себе, что ты единственный человек в мире и пытаешься выяснить, откуда произошёл твой ум.

Я поудобнее уселся на траву, если честно, слегка раздосадованный.

— Ты уже кое-что знаешь об уме. Ты знаешь, что ум может произойти только из ума. Этот невидимый, познающий, невыразимый и вездесущий ум может быть порождён только из чего-то сделанного из такого же вещества, то есть из другого экземпляра ума. А ещё ты знаешь, что, например, твой ум в момент его возникновения в утробе твоей матери был создан из твоего же собственного ума, который пребывал в предшествующий этому событию момент в какой-то другой сфере бытия, где-нибудь ещё. Мы ведь уже доказали это. Не забыл?

— Помню.

— А вот теперь представь поток своего ума в течение невероятно длительного времени: думай о нём как о некоем моменте сознания, создающем следующий момент сознания, подобно тому, как предыдущий, только что закончившийся момент, создал нынешний, текущий момент этого же самого ума.

Формулировка задания была ещё та, но, тщательно поразмыслив около минуты, я всё же смог понять: мой нынешний ум был результатом моего ума в предыдущий момент и причиной моего же ума в следующий за нынешним момент.

— Проверим, — кратко сказал наставник. — Ум — это вещь, у которой всегда есть причина.

— Верно.

— А какова его главная причина? Что это за вещь такая, которая превращается в ум подобно тому, как семя превращается в росток, а глина — в керамическую вазу?

— Вещество, именуемое «ум», может быть создано только веществом,

именуемым «ум».

— А когда случается причина каждого отдельного момента ума?

— В предыдущий момент.

— Значит, — подытожил Гунапрабха, как мне показалось с некоторой даже заносчивостью, если в нём вообще можно было заподозрить её наличие, — именно из-за того, что в этом состоит первичная причина ума, у него и нет начала. Ты не можешь указать на такой момент в потоке твоего ума, пусть даже отстоящий на миллионы лет в прошлом, и сказать, что у *этого* конкретного момента нет главной причины, что он появился из ниоткуда. У твоего ума всегда есть первичная причина, и эта причина — сам твой ум, а посему он не имеет начала. Привыкни к этому, ведь это так не похоже на то, что ты думал обо всём этом в прошлом, это нечто совсем новое для тебя, и всё это истинная правда.

Мне действительно было не так уж просто вывернуть свои мозги наизнанку: всё то, чему меня учили с детства, всё воспитание в традициях моей культуры восставали против такой идеи. Но логика и следствия этих рассуждений были мне понятны.

— Значит, насилие всегда приходит к нам, потому что в прошлом мы сами применяли насилие, и когда мы отвечаем на это насилие новым насилием, то это гарантия того, что впереди нас ждёт ещё больше насилия?

— Точно! Умоляю тебя, не забывай пример с мошенником, который преуспевает. В таких делах не верь глазам своим, вместо этого опирайся на разум и умение делать выводы, которые тебя не подведут. Если бы насилие было истинным способом разрешения конфликта, если бы насилие было причиной мира, тогда оно всегда приносило бы мир, потому что само определение «причины» подразумевает, что это такая вещь, которая всегда гарантированно приводит к ожидаемому результату, если присутствуют все остальные сопутствующие факторы. Насилие не является причиной мира, потому что насилие не всегда приносит мир. Коротко и ясно!

— Да... и когда мы отвечаем насилием на насилие, — печально отозвался я, — то этим увековечиваем насилие, единственный гарантированный результат таких действий — всё то же насилие, направленное только на нас самих.

Гунапрабха кивнул и сказал:

— А теперь давай немного отдохнём.

Мы оба нуждались в отдыхе и телом и душой. Он уселся, по-стариковски ссутулившись, и, не отрываясь, смотрел на свои руки, без усталости перебиравшие чётки, а я потянулся и привалился к чинаре, уставившись в звёздное небо.

— Насилие сеет не только отпечаток, который порождает ещё большее насилие, — чуть повернувшись в мою сторону, тихо проговорил он недосказанную мысль, — но и саму склонность вести себя соответствующим образом — убивать, лгать или прелюбодействовать, — которая переносится вместе с умом во всё новые сферы бытия, в новые перерождения. Вот почему уже в младенчестве мы проявляем склонность к тем или иным видам добродетельного или злонамеренного поведения, вот почему нам вдвойне трудно удержаться от всего этого, когда мы взрослеем.

Я кивнул, это было похоже на правду. Мне всегда казалось, что я могу различить на детских личиках неизвестно откуда взявшиеся следы пристрастий и антипатий, казалось, они принесли с собой этот груз откуда-то, где жили раньше. Да и в школе мне приходилось замечать в своих совсем юных одноклассниках различные пороки и врождённые таланты, доставшиеся им, как говорят, от природы. Выжатый как лимон, я прижался к родному дереву, чтобы почувствовать его животворящую силу, и снова посмотрел вверх, стараясь разглядеть свет далеких звёзд сквозь его раскидистую крону. Вот эти-то звёзды и натолкнули меня на ещё один последний вопрос.

— А где находился мой ум, — спросил я почти шёпотом, — до того, как этой планеты и в помине не было?

— Ответ у тебя перед носом: ты на него сейчас глядишь, — ответил монах. — Количество обитаемых планет во вселенной бесконечно. Когда пробивает её час, каждая из этих планет погибает. Зачем далеко ходить за примером — та, на которой мы сейчас сидим, не избежит этой участи: она сгорит, как только наше солнце ярко вспыхнет напоследок, увеличившись в размерах перед тем, как ему придёт черёд навеки угаснуть.

Когда умирает тело, в котором обитает ум, то этот ум должен на короткий период времени войти в промежуточное тело, что-то вроде призрачной формы, временного пристанища, где он будет пребывать,

пока не созреют все условия, позволяющие ему обрести новое тело, причиной которого, конечно же, является конкретное сочетание семян-отпечатков, оставленных в уме прошлыми действиями, словами и мыслями.

Эта призрачная форма не подчиняется физическим законам, которые управляют жизнедеятельностью обычных, материальных тел, и перемещаться она может практически со скоростью мысли. Вот так и получается, что личность может обрести своё следующее тело в другом мире — в другой сфере бытия — очень далеко оттого мира, который мы с тобой видим сейчас. А когда последние люди на какой-нибудь планете умирают, а затем и сама эта планета погибает, их умы перемещаются в такой призрачной форме в один из бесчисленных миров.

Я говорю тебе всё это лишь для твоей осведомлённости, потому что ты об этом спросил и потому что это имеет отношение к нашему разговору вообще. Я не могу тебе прямо сейчас показать эту призрачную форму, поэтому дальше тебе придётся самостоятельно изучать, пока ты целиком этого не примешь, иначе ты станешь мыслить нелогично и... И вообще хватит на сегодня логики, правда? — спросил Гунапрабха риторически, бормоча и склоняясь головой всё ниже, пока совсем не задремал. А я поглубже вдохнул ночного воздуха и попытался было уложить все эти многочисленные мысли в мой скудный перегруженный разум.

Я проснулся в полной растерянности, у меня не было ни малейшего представления, который сейчас час и сколько же дней я проспал. На скамье по-прежнему чинно, с полностью выпрямленной спиной восседал старый наставник Гунапрабха. Он слегка покачивался взад-вперёд, словно подчиняясь ритму какого-то внутреннего духовного песнопения, и пристально смотрел прямо перед собой на нечто такое, чего мне было не увидеть. Я поднялся и, поклонившись ему, вновь чинно уселся на траву у ног наставника. Покачивание прекратилось, подбородок чуточку приподнялся, и огромные глаза старого мудрого филина снова приветствовали меня из бездонных глубин его необъятного ума.

— Прежде чем отклониться от темы, — начал я, — мы говорили...

— Никуда мы не отклонялись, — поправил меня Учитель.

Я кивнул, он был абсолютно прав.

— Мы говорили о причинах внешнего мира; о тех отпечатках в нашем уме, которые определяют саму окружающую действительность.

Он кивнул.

— Мне приходилось бывать в таких странах, — заговорил я, — где проблема была не только в том, что пища не насыщала, лекарства не исцеляли и тому подобное, а в том, что там не было никакой возможности вырастить хороший урожай: то засуха, то заморозки, то затяжные проливные дожди, то нашествие саранчи, уничтожающей посевы.

— Следствие воровства, — проворчал он, как всегда глядя на свои сложенные руки, — коллективная карма тех жителей этой страны, которые воровали.

— А ещё я был в городах, — продолжал я, — где на улицах стоит душливый запах гари, зловоние от испражнений и гниющих отходов. Скверно чувствуешь себя, куда бы ты ни пошёл в таком городе: везде трущобы, смрад и духота.

— Созревание отпечатка, посеянного в уме всеми видами прелюбодеяний и извращений, — с готовностью ответил Мастер.

— Вот ещё есть такие места, где никто никому не доверяет, где люди вообще не могут работать сообща, где их совместные усилия всегда терпят неудачу, а вокруг царит атмосфера страха и всего и всех нужно бояться.

— Лживость, — кратко прокомментировал он.

— А что сделало некоторые страны равнинными и удобными для путешествия и строительства дорог, а другие покрыло оврагами, скалами и непроходимыми болотами?

— Злословие — разговоры, которые разлучают людей, — был ответ.

— А откуда появились странные районы мира, сплошь засыпанные острыми камнями, поросшие колючими растениями, где нет ни рек, ни озёр, а земная поверхность груба и выжжена солнцем, где всё вокруг уныло и безжизненно, всё наводит тоску и даже безотчётный страх?

— Грубые и колкие слова в адрес других.

— А почему появляются места, где даже деревья кажутся неудачными творениями, либо неспособными плодоносить, либо плодоносящими не ко времени: то слишком рано, то слишком поздно; плоды либо не вызревают, либо быстро гнивают. Почему в некоторых городах много уютных и укромных уголков, парков и лужаек, где можно хорошо

отдохнуть, а другие похожи на каменные джунгли, в которых негде дать передышку телу и душе, где на каждом углу подстерегают опасности?

— Результат пустословия, бесполезной болтовни, — вздохнул наставник.

— А почему в руках некоторых людей вещи служат долго, сохраняя свои высокие качества и полезность, в то время как другие не успеют обрести объект своих вожделений, как тот стремительно приходит в негодность: или совсем разваливается, или перестаёт работать, или работает с каждым днём всё хуже?

— Страстное стремление завладеть вещами, принадлежащими другим; желание обладать ими единолично и только в своих целях, — ответил монах, при этом ещё быстрее перебирая чётки, как будто возмущаясь, что ему приходится копаться в прелестях этого мира.

— А отчего наступают на земле такие времена, что некоторые города и даже целые страны вдруг начинает раздирать лютая вражда, когда люди убивают друг друга почём зря; а то вдруг ужасные эпидемии охватывают целые регионы мира, везде царят мор и страх; или, скажем, случается нашествие скорпионов, тарантулов или других ядовитых тварей, которые прячутся под каждым камнем и кустом, так что и шагу не ступить; или опасность исходит от хищников покрупнее леопардов или медведей? Хотя самая страшная опасность — это сами люди, слоняющиеся туда-сюда, обдирающие как липку или даже походя убивающие любого попадающегося им на пути. Отчего так происходит?

— Причина этого в желании другому каких-нибудь неприятностей, — кротко ответил он, — в получении удовольствия при виде чужих неудач и несчастий.

— А почему бывают целые страны или даже цивилизации, где вредные идеи начинают распространяться и укореняться в умах всего народонаселения? Что создаёт такие миры, все обитатели которых всеми силами стремятся к тому, что никогда не сделает их счастливыми? Миры, где люди из кожи вон лезут в безумной погоне за вещами, новыми впечатлениями и удовольствиями, которые могут принести им только страдание. Миры, где чистые, здоровые и благородные идеи, мысли, которые могут привести к духовному росту, не воспринимаются никем, не осознаются даже теми, кто изо всех сил стремится к обретению внутренней гармонии?

— К этому приходят, если живут, следуя ошибочным и вредным воззрениям, — сказал Гунапрабха и устало затих, как будто обессилев от разглядывания этих тончайших, почти невидимых взаимосвязей между делами, словами и мыслями человечества и их следствиями, отражёнными в том мире, который это человечество породило.

Мне и самому было тягостно, почти невыносимо думать о мире как о месте, где царили боль и страдание, где они в конце концов разрушали любые взаимоотношения, уничтожали каждого человека и всякую вещь или предмет... Я задумался о других сферах бытия, о которых упоминали прежние мои наставники. Может быть, не всё ещё потеряно, подумал я, и спросил Гунапрабху о том, какие мировые отпечатки создают те, другие сферы бытия.

Он быстро угадал ход моей мысли и разразился резкой отповедью, быть может, сам того не желая:

— Любое из тех деяний, что мы упоминали нынче ночью, — от смертоубийства до лжи, включая следование вредоносным верованиям, — выполненное с полной вовлечённостью и осознанным намерением, обладает силой посеять мировой отпечаток, который заставит увидеть себя ввергнутым в самый тёмный и ужасный ад, который только существует, — там царят мрак и скрежет зубовой и такая невыносимая боль, которую в нашей сфере бытия и представить-то нельзя.

То же деяние, совершённое с менее серьёзными намерениями или, скажем по недомыслию, обладает силой посеять в твоём уме мировой отпечаток, который заставит увидеть себя в виде истязаемого духа или животного. Представь, каково это — взглянуть вниз и увидеть когти вместо пальцев или перья вместо рук! И не думай, что я хочу внушить тебе что-то, ибо ум вечен и беспредельно могуч. Раз уж он смог создать и поддерживать непрерывность твоего восприятия этого текущего мира и *твоей жизни в этом мире, то уж будь спокоен — слегка искажённый* следствиями твоих вредоносных деяний по отношению к другим, он с лёгкостью сотворит для тебя те сферы бытия, которые я только что упомянул. И наконец, ты должен понять, — с трудом продолжил он, как будто ему очень не хочется, но надо сказать мне нечто неприятно важное, — что те последствия, о которых я говорил этой ночью, воздействие того, что ты говоришь, думаешь или делаешь на твои личные ощущения и твой мир, должно понимать в контексте обретения тобой человеческого рождения. Такое рождение, в свою очередь, возможно как

результат того, что ты никогда или почти никогда не совершал вышеперечисленных вредоносных деяний, что само по себе — не знаю, стоит ли говорить тебе это — встречается крайне редко. Возможности, которыми ты обладаешь ныне как человек, наделённый свободой воли и ясностью мышления, — как тот, кто действительно может разглядеть страдание, в которое погружён твой мир, кто в состоянии постичь причины этого страдания и кто встал наконец на истинный Путь, позволяющий избавиться от всех страданий, — возможности эти встречаются настолько редко, что это даже трудно себе представить.

Похоже, Учитель Гунапрабха внезапно обрёл второе дыхание. Он сел прямо, впервые за всё время оторвал одну руку от чёток, что лежали у него на коленях, согнул её перед собой и решительно ткнул в мою сторону, почти коснувшись моей головы вытянутым указательным пальцем.

— Пора идти, мы и так почти всю ночь тут просидели. Ответь мне, разве наша беседа, несмотря на её слишком пессимистический характер, не заронила в тебе некий проблеск надежды?

В тот момент я думал о том же самом, о чём он сразу же, без сомнения, узнал, почему и выпрямился так внезапно, чтобы задать свой вопрос.

— Я предполагаю, — начал я через силу, — что если мы добьёмся того, чтобы избежать тех вредных поступков, слов и мыслей, о которых вы говорили, тех деяний, которые сеют мировые отпечатки, создающие переживание сфер бытия и жизни в этих сферах, наполненных никогда не удовлетворяемыми желаниями и никогда не прекращающейся болью, то сможем вследствие самой природы вещей избежать общих для таких миров бед, невзгод и лишений.

Я считаю, — продолжал я, — что мы можем пойти ещё дальше, если будем сознательно стремиться к тому, чтобы поступать прямо противоположно этим пагубным тенденциям и моделям поведения, и, таким образом, станем сознательно создавать свой будущий мир, в котором не будет места ни одному из видов страдания. Я полагаю, что для этого нам необходимо: стремиться бережно относиться ко всем формам жизни, включая животных; строго соблюдать право частной собственности; поощрять и уважать добродетель супружеской верности; всегда говорить правду и одну только правду; прилагать усилия к тому, чтобы сближать людей друг с другом; говорить со всеми окружающими

почтительно и вежливо; обсуждать только жизненно важные вопросы; радоваться, когда другие получают то, чего давно хотели, уметь со всеми делиться и видеть в этом счастье; не только желать другим успеха, но помогать им в его достижении; и, наконец, учиться посвящать те редкие и драгоценные минуты размышлений, которые нам отпущены в этой жизни, обдумыванию идей, способных принести настоящую пользу нам самим и всем живущим. Всё это, я думаю, создаст кармические отпечатки для переживания райского, ну или почти что райского, мира, где на каждом углу нас будут встречать радости, прямо противоположные тем ужасам, о которых вы столь живописно поведали мне этой ночью.

— Рай не только вокруг тебя! — радостно отвечал Гунапрабха. Я впервые видел его таким воодушевлённым. — Рай — внутри твоего собственного ума: это отпечатки, которые станут причиной того, что ты увидишь свой ум навеки умиротворённым и чистым. — Он помолчал. — Но если ты теперь действительно понимаешь, как это может случиться и что это обязательно однажды произойдёт, тогда умоляю тебя, внимательно послушай то, что я сейчас скажу, ибо, по правде сказать, я пришёл к тебе сегодня ночью в Сад именно за этим.

Велика и могуча сила наших негативных кармических следов, а те немногие благие отпечатки, что в нас есть, были посеяны хилыми, беспомощными и редкими добрыми намерениями. Если ты честно взглядишься в свои мысли в течение нескольких минут любого рабочего дня, то обнаружишь, что обычное твоё состояние — вялотекущее самолюбование и низкопробная раздражительность всеми и всем, что тебя окружает.

Чтобы хоть как-то рассчитывать на усиление добродетельных отпечатков до такой степени, чтобы они начали творить твой будущий идеальный мир, ты должен отыскать способ эффективно обратить свой ум к тому, что есть добро. И это нужно сделать не потому, что кто-то где-то подсчитывает твои проступки и ждёт не дождётся, как бы тебя поскорей за них наказать или что-то в этом роде. Это нужно сделать из истинного и бесстрастного понимания того, что ты не сможешь вырваться из этого мира, где всё обращается в страдание, если сначала не узнаешь, а потом не станешь постоянно предпринимать сознательные шаги, направленные на принесение величайшего блага себе самому и всем окружающим. И говорю я сейчас о принятии обетов.

Так говорил Гунапрабха, и я вспомнил, что именно он более тысячи лет назад написал классический трактат о том, как следовать духовному пути посредством практики поддержания обетов.

Думал я недолго, а потом честно признался:

— Рассудком я понимаю всё, о чём мы говорили этой ночью. Для меня совершенно логично звучит вывод о том, что если я хочу добра себе и другим, то, не откладывая дела в долгий ящик, должен отныне совершать только благие деяния тела, речи и ума. Узнав вас поближе, побывав в обществе других столь же знаменитых Учителей, которые даровали мне наставления в этом Саду, я проникся ощущением того, что поступать правильно — помогать, а не вредить другим из эгоистических соображений — просто даже веселее, так жить намного радостней. Но, когда вы завели речь об обетах, веселье сразу куда-то улетучилось. Мне представилось некое безрадостное и ограниченное рамками правил и уложений существование, скорее предназначенное для беспомощных и несчастных мужчин и женщин, которые не в силах противостоять тяготам этой жизни, скрываются от неё в монастырях и скитах, где извращённо толкуют свою социальную несостоятельность как стремление покинуть суетный мир. Это не тот жизненный путь, который я ищу, я не вижу в нём способов помочь мне творить истинно добродетельные поступки, ведь для этого мне непременно надо находиться в мире, среди других людей.

Не успел я договорить эти слова, как монах протянул обе руки и первый раз за всю ночь прикоснулся ко мне, с любовью положив обе ладони мне на виски. Я смог впервые почувствовать жар, исходящий от его тела, проникающий мне прямо в душу и так напоминающий мне кое-кого ещё. Он взглянул на меня с глубоким состраданием и сказал:

— Допускаю, что тебе приходилось встречать носителей обетов, которые вели себя подобным образом, но осмелюсь предположить, ты судишь о них несколько предвзято. Во всяком случае, тебе следует лучше выбирать выражения. Теперь о том, что такое обеты на самом деле.

Боюсь, что искусство принимать и соблюдать обеты уже почти утрачено в вашем мире, вот почему ты едва ли понимаешь, о чём идёт речь. Вообрази, что ты предстал перед великим святым существом, которое буквально переполнено добротой и священным знанием, преклонил перед ним — ну или перед ней, если тебе так больше нравится — колени и, глядя ему в лицо, видишь в нём величественный покой,

гармонию и счастье, достичь которых можно, только даруя добро и чистоту себе и другим. Осознавая, что состояние такой непоколебимой безмятежности может стать и твоим, ты складываешь ладони у сердца и с чувством произносишь: «Клянусь тебе, что стану таким, как Ты, что обрету то счастье, которого Ты достигла». После чего встаёшь, отряхиваешь колени и чувствуешь, что вместе с торжественным обещанием ты вдруг обретаешь пару совершенных и могучих крыльев. Ты поворачиваешься, встаёшь на подоконник и улетаешь по своим просветлённым делам, паря среди орлов. Вот что такое настоящие обеты: они — радость, они — удовольствие, они даруют освобождение из рабской зависимости от себялюбивых и вредоносных деяний по отношению к другим, они — просветлённые и просветляющие, они — сам свет!

Его восторженное лицо ярко сияло в лучах заходящей луны, казалось, что даже звёзды поднатужились, посылая вниз ещё больше золотых лучей, которые образовали сияние вокруг его головы, разгоняющее сумрак Сада. Меня тоже проняло до глубины души; потрясённый, я впервые без долгих предисловий и объяснений, а чисто под действием непреодолимой силы сострадания сидевшего передо мной высшего существа понял, что обязательно приму обеты.

Наставник сиял от счастья и улыбнулся мне с высоты своего сиденья.

— Начни с обетов мирянина, — сказал он. — Их кто угодно может принимать, они приносят радость в жизнь каждого. Вспомнив, сколько боли окружает каждого человека, всех людей и их взаимоотношения, ты принимаешь решение избавить от этой боли себя самого и всех окружающих. Для этого ты клянёшься, что никогда больше не убьёшь человека, не украдёшь ценную вещь, не вступишь в интимную близость с чужой женой, не станешь лгать о своих духовных свершениях. Ты также перестаёшь употреблять алкоголь и любые наркотики: думаю, нет нужды объяснять тебе, что всё это нескончаемый источник несчастий, нищеты и абсолютно бездарная трата денег и времени; если у тебя есть возможность хорошенько подумать об этом хотя бы с минуту, ты и сам всё это поймёшь.

Действительно потратив на размышления не больше минуты, я спросил:

— Ну хорошо, я ещё могу понять, что это может быть не так уж плохо — пообещать отказаться от интоксикантов, поскольку они так широко

распространены, несомненно, бесполезны и даже вредны. А что пользы в принятии обета не делать всего остального? Ведь и так ясно, что любой человек, не совсем потерявший ещё совесть, не захочет ни убивать, ни прелюбодействовать, ни лгать о самом сокровенном в своей жизни. Зачем принимать обет не делать всего этого?

Он выпрямился и посмотрел мне строго в глаза:

— Честный вопрос достоин прямого ответа. Отпечаток, который создаётся, когда ты избегаешь определённого действия в силу принятого обета, неизмеримо сильнее, чем если бы этого обета не было. Я имею в виду следующее. Любое благодеяние, которое ты совершаешь, придерживаясь клятвы, имеет далеко идущие последствия, обладает максимально мощным воздействием — достаточно мощным, чтобы полностью очистить твой ум и весь мир. Гораздо труднее проделать это без силы обетов.

Кроме того, клятвенное и торжественное принятие *на* себя обета помогает тебе сдерживать этот обет и этим избежать любых негативных отпечатков, порождающих боль и страдание. Ты всегда помнишь о том святом существе, которое было настолько добрым, что даровало тебе обеты, и когда ты вплотную подходишь к тому, чтобы совершить очередное злодеяние, тебя удерживают и защищают от этого шага любовь и уважение к этому существу. Ты помнишь, что преклонил перед ним колени и принял обеты не в виде какого-то там принуждения или самоограничения, а в виде акта освобождения, в виде обретения умения летать, в виде достижения такого безграничного счастья, о самой возможности которого большинство в этом мире и не подозревает.

Тут Гунапрабха медленно посмотрел вниз на свои руки, сбросил ещё несколько бусин, неожиданно выпрямился и снова поднял подбородок, почти вертикально вверх, к небу, и вдруг радостно рассмеялся прекрасным звонким смехом счастливого ребёнка, открытым и естественным смехом человека, который никогда не отступал от добродетели, который сделал самого себя, свою жизнь и мир добрыми.

Глава 9



СОСТРАДАНИЕ. АСАНГА

После встречи с Учителем Гунапрабхой мне было о чём подумать в течение нескольких месяцев. Обычно я гулял среди торговых рядов местного рынка или сидел у окна библиотеки, глядя на хлопковые поля и апельсиновые рощи и пытаюсь представить, как же всё это могло вырасти из семени или отпечатка в моём собственном уме. И поначалу это выходило у меня из рук вон плохо! Однако во время моих медитаций, когда я снова и снова возвращался к обдумыванию идей, о которых мы говорили в ту ночь, я не находил в них изъяна. Я знал, что Гунапрабха был совершенно прав, когда сказал, что мне следует преодолеть как «очевидность», то есть естественное восприятие того, что предстаёт перед моим взором, так и предрассудки воспитания в рамках той культуры, которая меня взрастила, пользуясь вместо этого новым взглядом, сопряжённым с умением делать правильные и точные выводы.

Шло время. Я продолжал думать и наблюдать и постепенно привык к такому способу смотреть на вещи, что принесло мне немало пользы и уверенности в себе, ибо объясняло всё существующее и происходящее в моём мире, равно как и события моей собственной жизни. Особенно это касалось тех случаев, когда что-то шло не так — либо хранитель библиотечного фонда топал ногами и орал на меня за мельчайший промах в работе, либо рушились какие-то проекты, на которые я возлагал большие надежды. Всякий раз я возвращался к наставлениям Учителя Гунапрабхи и пытался определить, что же такого я натворил в прошлом своими делами, словами или мыслями, чтобы теперь переживать ту или иную неудачу.

Я наконец осознал, что в каждом из этих случаев моя так называемая естественная реакция — например, накричать в ответ на хранителя библиотеки, когда он ругал меня за недочёты в работе — была именно той разновидностью действия, которая всегда сеяла в моём уме отпечаток, заставлявший меня в будущем видеть, что меня опять разносят в пух и прах; то есть я понял, что если не сумею обуздать свою природную вспыльчивость, то буду вновь и вновь воспроизводить то

самое страдание, которого теперь пытаюсь избежать.

Таким образом, мне стало ясно, что не помешало бы предпринять кое-какие шаги, которые помогут мне сдержать мою естественную реакцию на зло, поэтому я решил принять пять пожизненных обетов мирянина. Славный настоятель того скита, где я снимал келью, даровал мне эти обеты, проведя незатейливый церемониал в своих скромных апартаментах.

Мне очень понравилось новое состояние моего сознания после принятия обетов, и я взял за правило каждые несколько часов снова возвращаться к размышлениям о них. Не потому, конечно, что за такой короткий срок я мог бы кого-то убить, моя задача состояла в том, чтобы обнаружить в моих поступках такое, что представляло угрозу для жизни человека, животного или даже насекомого. Затем, исключительно для душевного равновесия, я просматривал прожитые несколько часов в поисках того, что было сделано хорошего, что было предпринято для защиты и сохранения жизни, а потом в течение нескольких минут, оставив прочие дела, радовался своим успехам. Так советовал мне настоятель, утверждая, что это лучший способ увеличить силу положительных семян в моём уме.

А под вечер каждого дня, перед тем как уснуть, я просматривал те десять проступков, о которых рассказывал мне Учитель Гунапрабха, чтобы отметить, насколько близко я подошёл к ним в своих действиях, и, наоборот, что хорошего я сделал в противовес этим злодеяниям. Для этой цели я завёл себе небольшой ежедневник, записывая два, три, а то и все десять негативных и соответствующих им позитивных дел. Например, страничка наугад:

1) Отнятие жизни:

Ближайшее к этому за сегодня — чуть не сбил путника, когда лошадь понесло.

Ближайшее противоположное (охранять и защищать жизнь) — проследил, чтобы N приняла лекарство.

Список десяти проступков и их противовесов я выписал на обложку моего блокнота в виде таблички:

<i>1. Отнимать жизнь</i>	<i>1. Охранять жизнь</i>
<i>2. Брать то, что не дано</i>	<i>2. Уважать чужую собственность</i>
<i>3. Прелюбодействовать</i>	<i>3. Уважать чужих партнёров и узы брака</i>
<i>4. Лгать</i>	<i>4. Говорить только правду</i>
<i>5. Клеветать с целью разлучить людей</i>	<i>5. Объединять людей</i>
<i>6. Произносить бранные слова</i>	<i>6. Говорить приятно и уважительно</i>
<i>7. Болтать попусту</i>	<i>7. Говорить только по существу</i>
<i>8. Питаться алчностью</i>	<i>8. Помогать другим обрести то, чего они желают</i>
<i>9. Злорадствовать по поводу бед других людей</i>	<i>9. Помогать другим в несчастье</i>
<i>10. Придерживаться превратных воззрений</i>	<i>10. Пересматривать свои убеждения и опираться только на истинные и добродетельные взгляды</i>

И вот я стал по вечерам записывать по несколько случаев, когда я делал, думал или говорил нечто такое, что явно подходило под определение двух-трёх деяний — как из негативного, так и из позитивного столбца, — которые я выбирал для сегодняшнего анализа. Не прошло и месяца, как я обнаружил, что в моём мире и во мне самом начало что-то меняться.

Правда, первая вещь, которая бросилась мне в глаза, скорее огорчила, потому что это было осознание того, что в течение всего дня в разговорах с другими я постоянно делаю тонкие намёки, а то и выдаю целые тирады, скрытой целью которых является выставить меня в выгодном свете и посеять вражду и недоверие между людьми. Кроме этого хоть я вроде бы и не употреблял бранных слов, но некоторые из моих речей явно подразумевали намерение оскорбить или обидеть окружающих. Меня охватило беспокойство — а не становлюсь ли я хуже, вместо того чтобы совершенствоваться? Но мой настоятель, с которым я посоветовался, сказал мне, что подобное впечатление непременно возникает у всякого, кто впервые стал внимательно следить за тем, что он говорит, делает или думает.

Самым непосредственным результатом моих усилий стало то, что я просто перестал думать, говорить или делать вещи столь очевидно зловредные, что даже мне, новичку на этом Пути, трудно было их не заметить. То, что последовало за этим, имело мало отношения к кармическим семенам или отпечаткам, о которых я узнал прежде; всё было намного проще: в моём уме осталось больше места и времени для положительных мыслей, а в моей жизни — для добрых дел. Я обнаружил, что мой подход к работе и повседневной жизни становится всё более творческим, что моя способность к концентрации возрастает, что с утра до вечера я пребываю в неизменно приподнятом настроении, что само по себе было здорово. Оказалось, что это занятие — избегать плохих семян в моём уме — попросту весёлый и радостный труд, а не рутинная подёнщина, которую я было заподозрил, когда Гунапрабха впервые завёл речь об обетах.

Пусть не так быстро, но зато неуклонно стал меняться и мой мир. Хорошо помню, что когда семена-отпечатки были посеяны с полным осознанием и искренностью, то они и созревали относительно быстро. Мне стало ясно, что в идеальном случае можно полностью изменить свою реальность в течение одной этой жизни.

Происходящую со мной перемену трудно было описать, но она была вполне заметной и несомненной. Еда стала вкуснее, цвета — ярче, я чувствовал, как веселье и творческая радость вскипают во мне, а люди вокруг меня, казалось, начали говорить и делать такие вещи, которые ещё больше вдохновляли меня на духовные подвиги.

Нутром я чувствовал, что если мне удастся довести такой образ жизни до совершенства, то я смогу полностью изменить даже то, что кажется неизбежным, — болезни, старость или саму смерть. Мне было ясно, что для подобных, воистину великих перемен требуется нечто посерьёзнее, чем мои нынешние усилия. Так я снова понял, что мне опять пора съездить в Сад.

Зима к тому времени кончилась, и роскошная степная весна была в самом разгаре. Войдя под конец дня в калитку, я сразу заметил — возможно, не в последнюю очередь из-за моей нынешней практики в искусстве добродетельной жизни, — что небольшой травяной газончик превратился в лужайку с буйной растительностью. Из фонтана била уже не просто вода, а кристально чистая, студёная горная вода, а ветви чинары разрослись и широко раскинулись далеко за пределы окружавшего её кирпичного возвышения: свисая вниз, они теперь почти касались моей любимой деревянной скамейки, у которой я столь многому научился.

Вечерело. Присев на краешек скамейки, я обратил свой взор и мысли в южную часть Сада, где росла небольшая слива, под которой я стоял однажды с моей золотой госпожой, вырисовывая своими губами узор на её челе. Мне вспомнилось, как в тот момент меня вдруг охватило чувство заботы о людях, с которыми мы даже не были знакомы, и одновременно с этим я ощутил какой-то толчок в глубине моего тела. Я так глубоко погрузился в эти воспоминания, что не заметил, как Учитель Асанга вошёл в Сад и сел сбоку от меня на скамью.

Я повернулся, и первое, что увидел, была его рука, протягивающая мне небольшую ароматную пышку, похожую на те, что так любила печь для нас моя матушка.

— Это тебе, — сказал он не церемонясь, — я слышал, что ты их любишь.

Сам он уже жевал такую же пышку, дружелюбно поглядывая на меня, и мне ничего не оставалось как присоединиться к нему. Мы сидели на

скамейке, болтая ногами, радуясь красоте Сада и вкусным пышкам; не успевал я покончить с одной, как он тут же протягивал другую, доставая её из небольшой сумки, которую извлёк откуда-то из-под складок своей накидки.

Он выглядел совсем не так, как мне представлялось. Асанга и Васубандху, его младший брат, уже успевший благословить меня своими наставлениями в Саду, вот уже на протяжении шестнадцати веков считались двумя самыми великими из известных нам мыслителей. Но, сидя сейчас передо мной, он казался мне просто добрым приятелем. У него было простое открытое лицо, благородные движения и совсем кроткая, почти застенчивая манера говорить. Он не слишком заботился о том, как выглядит его одежда, но монашеское платье так естественно сидело на нём, что казалось частью его самого, а мягкость складок ткани — продолжением его собственной мягкости и доброты.

— Наелся? — спросил он. — Или ещё хочешь? Я на них не слишком много сахара насыпал? Знаю, что надо посыпать сахарной пудрой, но мне нечем было её намолоть.

Я посмотрел на него с удивлением, когда представил величайшего философа всех времён, стоящего ради меня у печи и озабоченного тем, чтобы в точности соблюсти рецепт выпечки пышек. Однако в словах Асанги не было фальши, и мне стало ясно, что для него не существует *не важных* дел, — такой важнейший урок я получил ещё до того, как он стал говорить о серьёзных вещах.

— Теряем время, — кротко сказал он, глядя на меня светло-карими глазами, полными заботы. — Это, наверное, всё из-за меня; думаю, пора вернуться к важным делам.

Мне сразу стало ясно, что он намекает на мою мать, на мои поиски её следов, на мои усилия найти способ помочь ей, если таковой существует. Я осознал, что погоня за своим собственным жизненным счастьем отодвинула на второй план мои изначальные намерения помочь ей, а его внезапное добродетельное участие заставило меня покраснеть от стыда и уставиться вниз, на сиденье скамейки.

Асанга непринуждённо взял меня за руку, как будто извиняясь за причинённую мне боль, но сжал её с твердостью, говорящей о том, что пора уже приступить к урокам, в которых я нуждался именно сейчас.

— Люблю Сады, — заговорил он с теплотой. — Ты никогда не

задумывался, как много размышлений требуется, чтобы их правильно спланировать? Нужно хорошенько подумать и представить, что бы такое могло порадовать каждого из множества столь разных людей, которые придут сюда в поисках душевного спокойствия, минутной передышки в суете мирской жизни, ведь каждый обретает его по-своему в одном и том же Саду.

Сердце моё сжалось, мне показалось, что он не вполголоса произносит эти слова, скромненько сидя рядом со мной на скамейке, а кричит их во всё горло, стоя передо мной во весь рост, как грозный судия, обвиняя меня в том, что я положил всю свою духовную жизнь на то, чтобы вырастить себе очень странный Садик, в котором есть место только для меня одного, вырастить, совершенно не думая ни о своей матери, ни обо всех остальных, кому тоже хочется счастья, но не удалось пока встать на Путь или встретить Учителя. Его удивительная манера — умение говорить простым, обыденным языком о весьма важных вещах, как бы невзначай направляя мою мысль к тем самым вопросам, в ответах на которые я более всего нуждался, — сильно потрясла меня, сразу же обнаружив его глубокое сходство с той, что обладала очень похожей способностью.

— Вот, например, предположим, — продолжал он как ни в чём не бывало, — что садовнику, который проектирует Сад, нравятся сливы и розы. Не думаю, что нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что другие могут любить другие цветы и фруктовые деревья. Вот почему хорошо бы этому дизайнеру в какой-то момент самому пройти по другим Садам, внимательно наблюдая за людьми, которые там гуляют, и хорошенько постараться поставить себя на их место, почти вжиться в их образ, чтобы точно узнать, от чего *они* получают удовольствие.

Снова что-то ёкнуло в моём сердце, и я почувствовал, что именно сейчас вынужден сознаться ему в той мысли, которая с недавних пор тревожила меня.

— Я не из тех, кто прожил на этом свете много лет, — приступил я к рассказу, — но даже я давно понял, насколько сильным духовным достижением является умение действительно ставить себя на место других людей, я мечтал, чтобы мне удалось так же озаботиться их нуждами, как озабочены они сами, — короче, мне бы хотелось научиться испытывать тот вид любви или сострадания, который выражается в стремлении обеспечить других тем, чего *они сами* хотят в жизни, при

том, чтобы это моё стремление во всех отношениях было столь же сильным, сколь и их собственное. Но если честно, — продолжал я, — не представляю, как это возможно. Я полностью отдаю себе отчёт в том, что меня всегда несравнимо сильнее интересует то, в чём нуждаюсь я, нежели то, в чём нуждаются другие, даже если их нужда серьёзнее, даже если их нужда — вопрос их духовного или физического выживания. Мне просто не представить, как я могу научиться заботиться о других с такой же искренностью, как я забочусь о себе. Всё это сильно беспокоит и глубоко огорчает меня, ибо я понимаю, сколько радости мы бы принесли всем живущим, если бы смогли овладеть одним этим священным умением и претворили его в жизнь.

— Ты прав. Совершенно прав, — сказал он грустно, проникнувшись моей заботой, как своей собственной. — Это так легко и естественно — шагать по жизни, удовлетворяя самые ничтожные свои потребности, идя на поводу у мимолётных желаний, и совершенно не обращать внимания на тех, кто на наших глазах умирает от голода и жажды, кто не имеет даже крыши над головой. Вот ты сказал, что мы осознаём эту прореху в своём сострадании, этот дефицит сочувствия... всё верно — я почти не знаю мыслящих людей, которых бы время от времени не беспокоила собственная неспособность уделить другим хотя бы малую толику той заботы, которой они безо всяких усилий, естественно и непринуждённо окружают самих себя. Мы точно знаем, что хотим любить, но не точно знаем как.

Некоторое время мы сидели молча. Я всё удивлялся, как быстро мы сблизились, как он за пять минут сумел признать меня ровней и даже почти другом. Наконец он негромко прочистил горло, как бы не решаясь говорить, а потом всё-таки решился:

— Ну, не такой уж я великий святой... — Но сказал это так, что я сразу понял, что именно святой и именно великий. Меня не проведёшь!

— Просто некто некогда научил меня этому созерцанию, которое, *наверное*, могло бы нам помочь...

И я знал: ещё как поможет, никаких сомнений!

— Не то чтобы у меня самого это получается как надо, раз на раз не приходится...

Это означало, что в этой медитации он достиг совершенства и стабильности.

— Но кто его знает, вдруг тебе тоже пригодится? — заключил он.

Инстинктивно я поднял руки к груди и прижал их к своему сердцу, словно прося Учителя преобразить его, прямо здесь и сейчас, немедленно.

— Приготовься к созерцанию, — сказал он мягко, но решительно, тоном непререкаемого авторитета, авторитета самой любви. Я мысленно приготовился, как учил меня наставник Камалашила на этом самом месте в Саду.

Через несколько минут Асанга сказал:

— Теперь следи за дыханием. Наблюдай вдох и выдох. Не пытайся что-нибудь изменить, просто наблюдай.

Я продолжал неспешно выполнять указания монаха.

— А теперь представь, — продолжал тот почти шёпотом, — какое-нибудь несчастье, ну или неприятность, которые могли бы приключиться с тобой ещё до рассвета.

Мне не удалось представить никаких бед или несчастий, которые могли бы произойти со мной в этом Саду, особенно когда рядом сидел Учитель Асанга. Поэтому я мысленно перенёсся в недалёкое будущее и представил себе то чувство опустошённости, которое неизменно испытывал, выходя из калитки и понимая, что ухожу из Сада, снова так и не встретив златовласку, ради которой — должен признаться — я по-прежнему жил.

— Подойдёт, — заметил он естественным тоном, хотя я ещё не проронил и звука, — а теперь возьми чувство опустошённости этого человека, которым ты будешь где-то через час, и представь, что это чувство превратилось в маленькое пятнышко чёрного как уголь света в глубине его, то есть твоего, сердца.

Я так и сделал, представив небольшую световую кляксу радикально чёрного цвета в самом сердце у себя, через час уныло выходящего из калитки Сада.

— Вот так. Теперь тебе надо очень захотеть избавить этого будущего себя от этого чёрного света — пожелай, чтобы ему никогда больше не пришлось испытывать эту опустошённость, и выскажи твёрдую решимость забрать её у него.

Я высказал; это было нетрудно, ведь такая решимость явно шла мне

на пользу, раз уже через час я буду чувствовать себя лучше, чем если бы я его не высказал.

— Правильно. А сейчас возьми и вырежи эту капельку чёрного света у него из сердца, как будто у тебя в руках острая бритва, и твёрдо обещай забрать её себе, лишь бы ему с ней не встретиться в будущем.

Я сперва слегка засомневался: мало ли что, а вдруг мне это повредит, но потом решил, что раз это позже спасёт меня от душевных мук, то почему бы и не сделать так, как он говорит. Ведь мы смазываем ранку йодом, понимая, что лучше чуть-чуть потерпеть сразу, чем мучиться потом. Итак, я решился принять муки чёрного света прямо сейчас.

— Очень правильное решение. Теперь втяни чёрный свет в себя, высоси это чувство опустошённости из себя будущего, выходящего из калитки. Преврати его в тонкую длинную струйку чёрного света и вдохни её, как дым, вместе с воздухом в своё тело. Если образ получится недостаточно чётким за один вдох, растяни удовольствие на несколько вдохов.

Я делал всё, как велел Учитель Асанга, но чем сильнее была моя концентрация, тем больше я ощущал лёгкую неприязнь, переходящую в отвращение. Однако я вдохнул весь чёрный свет без остатка, понимая, что помогаю себе самому в будущем.

— Чёрный свет входит в твою грудь вместе с дыханием. Представь, что в самом центре твоего сердца горит огонёк: это твоя *самость*, твоё себялюбие и ложные представления о твоей жизни и твоём мире, которые создают это себялюбие. Смотри-ка, чёрный свет приближается к этому огоньку самости, вот-вот коснётся его!

Я увидел, как тонкая струйка чёрного света, которую я вдохнул через ноздри, прошла через горло мне в грудь, а её кончик уже совсем рядышком с красным огоньком моей самости.

— А теперь смотри внимательно и хорошенько сосредоточься, ибо всё это кончится мгновенной вспышкой. Чёрный свет достигает огонька; происходит взрыв белого света; огонёк твоей самости, мигнув, исчезает в небытии; а сам чёрный свет, вспыхнув, превращается в облачко белого дыма, которое тоже растворяется в пустоте, — и всё это за долю секунды. И твоё себялюбие, и твоя будущая боль, которую ты решился взять на себя сейчас, ушли навсегда, а твоё сердце стало чистым-чистым.

Такое продолжение созерцания пришлось мне по душе, и я

проделывал этот приём снова и снова. Каждый раз, когда огонёк потухал, а облачко белого дыма таяло в небытии, меня охватывало чувство облегчения и избавления.

— Отдохни уже, — улыбнулся Асанга. Он вытащил деревянную миску откуда-то сбоку, из складок своей монашеской одежды, тихо и грациозно шагнул к ручейку и наполнил её. Потом подошёл и протянул мне чашу, а я сначала с благодарностью выпил и только потом осознал, сколь естественно и символично выглядело то, как этот выдающийся Учитель философии и самой жизни удовлетворяет жажду такого новичка в духовных делах, как я.

Он снова уселся и продолжал:

— Теперь представь какое-нибудь страдание, любую неприятную ситуацию, которое может произойти с тобой, или мысль, которая может посетить тебя завтра. Напряги воображение.

Чего тут напрягать? Сердитое выражение на лице старшего хранителя библиотеки, когда я завтра опоздаю на час-другой, даже если пойду прямо с дороги, мгновенно появилось передо мной. Я смог легко представить то чувство обиды и возмущения, которое неизменно вскипает в моей груди, какие бы усилия я ни предпринимал заранее, чтобы предотвратить его.

— Теперь представь, негодование у него — то есть у завтрашнего тебя — в сердце в виде крошечного шарика из чёрного света.

Я закрыл глаза и представил чёрную кляксу в груди у себя, стоящего завтра в дверях библиотеки под градом обвинений, уставившись на письменный стол хранителя.

— Вырежи этот чёрный шарик из своего сердца. Я так и сделал.

— Теперь убедись, что ты отождествляешь этот шарик с будущей болью в своём сердце, и прими решение забрать эту боль себе.

— Вот он превратился в тонкую струйку чёрного света, которая вместе с дыханием приближается к твоему лицу,

— Входит в твои ноздри, опускается через горло в грудь и почти касается огонька себялюбия и непонимания в твоём сердце.

— Контакт!

— Вспышка белого света!

— Себялюбие гаснет!

— Негодование превращается в облачко дыма, а дым тает! — говорил он отрывисто.

— Твоё сердце — очищено!

Я снова испытал чувство избавления и свободы, а ещё что-то вроде гордости от того, что помог кому-то другому, пусть даже этот другой был я сам. Созерцание оказывало на меня такое глубокое воздействие, какого я не мог и ожидать.

— Идём дальше. Постарайся представить себе три-четыре самые большие неприятности, которые могут ожидать тебя на будущей неделе. Не ленись, мысленно сформулируй их и снова помести в виде шарика из чёрного света в его — я имею в виду тебя, каким ты будешь спустя несколько дней — сердце.

Это больше походило на несколько искусственное упражнение, но я выполнил и его. Не приходилось сомневаться, что меня ждёт серьёзное оскорбление или как минимум едкое замечание со стороны хранителя библиотеки, и тяжёлый осадок от этой обиды останется со мной на несколько дней, мешая мне засыпать и вообще думать. С большой долей уверенности можно было ожидать каких-нибудь проблем с моим жеребцом, который то подкову потеряет, то под утро распутается и умчится куда глаза глядят, а ты потом бегай с уздечкой и ищи его по всем окрестностям, когда давно уже пора ехать на работу. Что там ещё? Из-за весенних проливных дождей отсыреют дрова, и мне опять придётся ужинать за полночь. Ну и, конечно, можно предположить, что после нынешней ночи я почувствую острые приступы боли и тоски по моей матери и отчаяния от невозможности ей помочь.

— Ты знаешь все шаги созерцания, — проговорил наставник. — Попробуй избавить его от боли самостоятельно.

На этот раз мне было не так просто пытаться удерживать внимание на трёх-четырёх несчастьях одновременно, но я почувствовал, что и награда от такого усилия будет ещё выше, а потому медленно и обстоятельно проделал медитацию, чётко выполняя все её шаги. Подумать только: целую неделю я буду жить свободным хотя бы от этих страданий!

— Дальше — больше. Увеличим срок до месяца, — не унимался Асанга. — Чётко выдели семь-восемь наихудших бед, которые ты ожидаешь от жизни в течение следующих тридцати дней, и проделай всё

упражнение снова. Не торопись, добейся полной ясности созерцания.

У меня ушло на это около двадцати минут, но я всё сделал, как сказал наставник. С одной стороны, я вроде бы всё больше преодолевал свою естественную нерешительность перед необходимостью брать на себя боль; с другой стороны, задача с каждым разом становилась всё больше и сложнее, поскольку увеличивалось количество боли. Я поймал себя на том, что пытаюсь не думать о конкретном виде страдания, когда чёрная струя приближается к моему лицу, но тут же инстинктивно понял, что это было неправильно, и тогда удвоил усилия и смелость, чтобы чётко представлять каждую отдельную боль в этом чёрном свете.

— Хватит, — сказал Асанга. — Передохни.

Я с облегчением повалился на спину, жадно хватая ртом бодрящие весенние запахи, и восторженно взирал на Млечный путь, мечтая когда-нибудь прогуляться по этой звёздной дороге вместе с ней. В мою память ворвались блаженные воспоминания, я мысленно бродил по самым укромным уголкам и закуткам Сада, где она давала мне другие уроки...

Но вот мой наставник снова наклонился ко мне, дружески взял мои руки в свои и посмотрел мне в глаза долгим искренним взглядом:

— Когда наберёшь силу, то увеличь чёрный шарик, чтобы в него поместились все беды и несчастья, с которыми ты столкнёшься в грядущем году. А станешь ещё сильнее, посети одного умирающего знакомого — самого себя в те часы, когда ты будешь лежать на смертном одре — и постарайся забрать его нестерпимую боль. Позже приступай к работе над тем страданием и той растерянностью, которые ты испытываешь сразу после смерти, когда обретёшь промежуточную призрачную форму и начнёшь путешествие в свою следующую жизнь. Потом точно так же избавь себя от страданий этой новой жизни и всех тех, что последуют за ней.

Ступай с осторожностью, добейся того, чтобы чётко представлять каждое из страданий, продвигайся вперёд медленно, не навреди себе, бери на себя столько боли, сколько тебе по силам принять. Добрый знак, если при этом ты испытываешь некоторую тревогу и сомнения, это показывает, что ты действительно ясно представляешь себе все беды и несчастья. Но никогда не нужно доводить медитацию до крайности — до чувства нервозности или безумного беспокойства, — ибо это чрезвычайно опасно для сердца и тонкого тела. Секрет в том, чтобы

созерцать регулярно и наращивать практику медленно, но верно, пока медитация не станет наконец устойчивой и сильной, а не в том, чтобы рвануть с места в карьер, в истеричном порыве, ибо порывы такие недолговечны и зачастую очень скоро полностью сходят на нет.

— Когда твоя внутренняя сила станет поистине великой, начинай живо представлять два-три самых незначительных страдания ближайших к тебе людей, скажем твоих родителей. Забирай их боль и вспышкой белого света уничтожай её и своё себялюбие вместе с заблуждением, являющимся причиной этого себялюбия. Затем созерцай их несчастья за неделю, месяц, год вперёд...

Затем переходи к людям, которых ты любишь, — родственникам, близким друзьям и так далее, проделывая ту же процедуру.

Когда ты почувствуешь, что ещё больше укрепился в созерцании, примись за людей, к которым не испытываешь никаких эмоций: незнакомые посетители библиотеки, попутчики по дороге на работу и другие.

А вот когда твоя медитация будет настолько совершенна, что ты будешь готов к настоящему прорыву, тогда возьми на себя боль и несчастья тех, к кому испытываешь ярко выраженную неприязнь. Когда ты сможешь проделать эту практику с чистым сердцем, она станет твоим великим достижением — таким внутренним достижением, которое редко кто может по достоинству оценить в вашем суетном мире. Здесь скорее будут восхищаться джигитом, сумевшим укротить необъезженного скакуна, чем йогоином, которому удалось укротить свои собственные скверные мысли и дурные привычки, хотя второму пришлось неизмеримо труднее, чем первому.

Наконец, когда ты достиг пика своей формы, направь свой ум на все обиталища живых существ в этом мире: в дома, хижины и землянки людей; пещеры, норы, берлоги, гнёзда и дупла зверей, тихие заводы, донные ямы и коралловые гроты рыб, ульи, паутины и коконы насекомых — и повтори это священнодействие для каждого из видов внешней и внутренней боли, которую они испытывают. Поднимись к звёздам за пределами твоего мира, достигни других сфер бытия, по большей части заполненных ужасом, — твой ум уже знает, что они должны существовать, хотя твои глаза пока их и не видят. Итак, войди в миры, планетные системы и сферы сплошного страдания и таких страшных вещей, которые тебе и представить-то трудно, и заberi всю их чёрную

боль себе.

Он помолчал, а потом также молча вытер слёзы краешком монашеской одежды.

Мы сидели в тишине, а я наслаждался сладостным чувством — своей решимостью распознавать и забирать себе страдание и боль других. В тот момент мне казалось, что в мире нет ничего прекраснее этого чувства: ни любовные утехи, ни жажда успеха, ни власть, ни деньги не шли с ним ни в какое сравнение.

— Иногда я задумываюсь, — прервал молчание Асанга, и я понял, что начинается новый урок, не урок, а проповедь под видом промелькнувшей мысли, — над тем, каково это — ощущать себя матерью. Нам с тобой в этой жизни не дано испытать это чувство, но ничто не помешает нам наблюдать матерей и замечать эту их слепую и потрясающую любовь к своим детям, любовь, ради которой они способны на всё возможное и даже невозможное, если ребёнок нуждается в помощи или защите.

Похоже, у материнской любви есть две стороны: одна состоит в том, что мать не может смотреть, как её ребенок страдает. Ты и сам, наверное, видел матерей с больными детьми на руках, которые прорывались, сметая всё на своём пути, к какому-нибудь прославленному целителю; матерей, бросающихся под колёса повозки, чтобы вытащить оттуда заигравшегося на дороге сына; матерей, которые, как разъярённые львицы, бросались в бой, если что-то или кто-то угрожал жизни или здоровью её ребёнка.

Есть и другая сторона материнской любви, которая стремится отдавать, хочет снабжать своё чадо всем необходимым; думаю, первое, что приходит на ум, — это её желание отдать своё молоко, наполнить дитя этим тёплым жидким счастьем и в награду увидеть выражение удовлетворения на лице младенца. И затем всю свою последующую жизнь мать готова бороться изо всех сил, чтобы увидеть, что её сын или дочь, пусть уже совсем взрослые, получают всё, чего пожелают: одежду, которая им нравится и впору, хорошее образование, перспективную работу, добрых и надёжных друзей, уютный дом, верного спутника жизни и послушных детей.

Ты знаешь, когда я думаю об этом, меня неизменно поражает то, с какой силой матери желают своим детям всех этих благ. Мне кажется, что из всех людей, живущих на земле, только твоя мать заботится о тебе

больше, чем ты сам о себе заботишься.

Мне была знакома истина слов Учителя Асанги. Точно такое же понимание пришло ко мне в день смерти моей собственной матери, когда ветер жалобно завывал в кронах деревьев за окнами моего академического общежития в столице, и я вдруг осознал, что потерял единственного человека, которого моё счастье беспокоило больше, чем меня самого.

— Вот почему, — тихо продолжил наставник, бросив на меня взгляд, полный несовместимой смеси застенчивости и высочайшей внутренней силы, — у этого созерцания есть вторая часть. Если ты не против, то я бы мог попробовать тебе её изложить, хотя сам в ней мало что смыслю.

Я кивнул, не в силах сдержать улыбки.

— Тот метод, который мы сегодня изучаем, называется «отдача и принятие», хотя выполняется он в обратной последовательности: мы сначала забираем, а потом отдаём. Как ты видел, забираем мы боль и страдания других, предварительно покончив с собственным страданием. Необходимо знать, что страданием является всё, что вредит личности: от ужасных мучений обширных адских сфер, находящихся вне поля нашего теперешнего восприятия, до последних моментов сомнения перед самым обретением великим святым полного знания включительно.

А отдавать мы будем всевозможное счастье, всё, что мы можем отдать, всё, что у нас есть. Я тебя научу, как это делать. Приглядевшись к поведению матерей, ты легко поймёшь, почему сначала мы забираем, ибо бессмысленно давать ребёнку конфетку или игрушку, если он корчится от боли, вызванной смертельно опасным заболеванием.

Итак, давай уже учиться отдавать, — сказал он, слегка подпрыгивая на скамейке, как маленький ребёнок, собирающийся играть в свою любимую игру. — Приготовься к созерцанию.

Я проделал тот же подготовительный цикл, что и раньше.

— Опять направь своё внимание на дыхание: вдох, выдох, снова вдох.

Я автоматически следовал уже знакомым мне указаниям, чтобы лучше сосредоточиться на внутреннем переживании.

— Теперь вообрази все свои добродетели, все свои благие мысли, слова и поступки, всё священное знание, которое ты когда-либо изучал, и все позитивные кармические отпечатки, которые, созрев в твоём уме, в

будущем принесут тебе счастье. Представь, что всё это соединилось вместе и пребывает в твоём сердце в виде чистейшего сверкающего белого света.

Потом подумай о ком-то знакомом — легче всего начинать с человека, который тебе близок и дорог — и вспомни, что бы такого ему больше всего хотелось получить: это может быть вещь, новое знакомство, знание и вообще всё, что угодно.

Стоило мне задуматься, как меня охватили сомнения. Первым моим побуждением было поднести что-нибудь ей, но после некоторого размышления, после того как я вспомнил её глаза, наполовину прикрытые веками в неизменном блаженстве, она показалась мне настолько самодостаточной, что я не смог представить, чтобы она в чём-нибудь ещё нуждалась. Вот почему, догадался я, Учитель Асанга ни в одной из двух частей этого созерцания не предлагал концентрироваться на Просветлённых, потому что не было такой боли, от которой их нужно было бы избавлять, и не было ничего такого, в чём бы они нуждались. В то же время мне пришло в голову, что я бы смог временами предлагать им те духовные достижения, которых добился, и те благие мысли, до которых додумался, подобно тому, как ребёнок с гордостью показывает радостным родителям свои каракули. Ведь я знал: что бы я ни выбрал для подношения, это будет понято и воспринято ими как полное блаженство.

И тогда я переключился на мою мать, представив, что способен снабдить её каким-то огромным фонарём, мистическим фонарём, который покажет ей, как выбраться из адских сфер невыносимых страданий, куда вполне мог провалиться её ум после добродетельной жизни и мучительной смерти в этом мире. Я представил, что, пока она держит в руке этот фонарь, он сможет вывести её на святой Путь подобно коню, который всегда знает дорогу к дому, даже после того как село солнце и ночная мгла опустилась на землю.

— На этот раз, когда будешь следить за дыханием, сосредоточься на одном из выдохов, — продолжил Учитель. — При этом во время созерцания ни в коем случае не пытайся сдерживать дыхание или управлять им: дыхание должно быть совершенно естественным, происходить само собой, без твоего участия. Итак, на одном из выдохов или сразу на нескольких, если тебе так будет удобнее, выдохни вместе с воздухом тонкий луч белого света из своего сердца.

Представь, что твой выдох исходит в этот мир или в целую галактику и везде ищет твою мать, где бы она сейчас ни находилась. На конце светового луча представь свой магический фонарь; представь его в натуральную величину, ведь световые лучи мысли не знают ограничений: они могут достичь самых отдалённых уголков вселенной и доставить туда любой объект — от капли воды до целого океана.

Представь, что луч света нашёл её.

Представь, что она в благоговении опускает взор и видит белый свет, который прилетел к ней через всю вселенную.

Представь, что она осознаёт, что свет пришёл от тебя, её сына, представь, что великая радость, такая же блистательно белая, как этот свет, заполняет её сердце.

Представь, что она протягивает руку к лучу света и берёт фонарь.

Представь, что, пока мы говорили, этот фонарь уже начал увлекать её вперёд, к великому Сиянию.

Пока Учитель Асанга говорил, моё сердце стонало от мучительных воспоминаний и в то же время прыгало в груди от внезапно вспыхнувшей надежды.

— А это возможно? — с жаром спросил я. — Она и вправду видит его? Он действительно до неё добрался?

Наставник ответил мне взглядом, полным глубокого сострадания, глаза его увлажнились, и он сказал:

— Слушай внимательно, ибо я принёс тебе добрые вести, хоть и не такие, как ты ожидал. Но прежде всего ответь мне на несколько простых вопросов. Ты веришь в существование Просветлённых?

— Да, — сказал я. — Пусть я не могу пока их видеть, но главное, что я знаю, как они могут существовать, и даже понимаю, как могу стать одним из них. Кроме всего прочего, у меня есть инстинктивное чувство — хоть ко всем этим интуитивным ощущениям обычно следует относиться с осторожностью, в отличие от ясного понимания, которому всегда можно доверять, — которое сопровождает меня всю мою жизнь, которым проникнуто всё моё существо, и это чувство говорит мне о том, что Просветлённые несомненно существуют.

— А как ты думаешь, — снова спросил он, — вот Просветлённый, он знает о страданиях тех существ, которые ещё не достигли просветления?

— Скорее всего, да, ибо ему известны все вещи, а наше страдание — как раз такая вещь.

— А ты веришь в то, что эти Просветлённые испытывают сострадание? Или им безразлично, когда они видят наши мучения?

— Конечно, испытывают! Думаю, наше страдание заботит их больше, чем нас самих.

— Так неужели ты думаешь, что если бы существовал любой способ — да вот взять хоть эту медитацию, — с помощью которого они могли бы избавить нас от мельчайшей крупички страдания, неужели ты думаешь, что они бы этого давным-давно не сделали?

Я, ошеломлённый, молчал.

— Стало быть, мы можем сказать, что сам факт нашего страдания есть доказательство того, что страдание не может быть уничтожено просто потому, что кому-то этого очень захотелось — не важно, нам самим или любому другому существу во вселенной?

Моё громоподобное молчание подтверждало истинность слов Учителя Асанги. Потом я всё же не выдержал и закричал:

— Так к чему тогда вообще заниматься такой медитацией или чем-то там ещё? Если этим нельзя действительно избавить кого-то от боли или принести кому-то счастье, то зачем и пытаться?

Он ответил мне хмурым взглядом.

— Скажи мне, — тихо сказал он, — зачем мы с тобой вообще приступили к этой медитации сегодня вечером?

— Как — зачем? Я спросил тебя, нет ли способа научиться состраданию; как мне научиться заботиться о других с такой же силой, с какой я забочусь о себе.

— А ты понимаешь, почему твоё сердце, так же как и сердце любого другого живого существа, так жаждет этой святой воды? Ты понимаешь, почему ты так страстно желаешь иметь эту способность — способность любить других как себя самого?

— Мне не хватит слов, чтобы выразить это, я просто чувствую, что это так. Думаю, что все мы чувствуем, что это так.

— Истинная причина, — ответил он с жаром, — заключается в том, что силой этой любви мы сможем свершить всё, что угодно, и быть всем,

чем угодно. Какая-то часть нашего разума осознаёт этот факт, хотя нам и не хватает сил, чтобы сделать из этого нужные выводы. Если совсем просто, то сострадание есть то единственное качество, которым нужно обладать, чтобы превратиться в духовного Воина. Это единственное чувство, которое доведёт тебя до величайших высот человеческих устремлений, вершиной которых является абсолютное и безусловное служение всем, кто в том или ином смысле нуждается в этом.

— Так, значит, на самом деле эта медитация не может помочь ни моей матери, ни кому-то ещё, — задумчиво проговорил я, не обращая внимания на его разглагольствования.

Тут Учитель Асанга впервые явил свою силу, причём не только непреодолимую мощь своего интеллекта, но и недюжинные физические возможности. Он схватил меня за плечи и хорошенько встряхнул:

— Смотри мне в глаза! Ну! Что оставалось делать?

— Думай!

Я пытался, я так устал, я переставал понимать суть.

— Каким будет логическое следствие созерцания, в котором ты попытаешься, пусть только мысленно, избавить от страдания всех и каждое живое существо во вселенной и выполнить всё, что только пожелает их сердце, наделив их всем, от ничтожного счастья того жалкого существования, которое мы здесь безрадостно влачим, до высшего блаженства полного просветления? Отвечай!

Я задумался на мгновение, под действием его железной хватки что-то начало проясняться в моей утомлённой голове.

— Как и все мысли, — начал я, запинаясь и путаясь в словах, — такое созерцание посеет кармическое семя или наложит отпечаток в моём уме. И трудно себе представить более чистое намерение, равно как и мысль, способную объять более объёмный, — нет, необъятный объект, поскольку мы желаем высшего счастья не только себе или нескольким близким и любимым людям, а всему живому во всей обитаемой вселенной. — И тут до меня дошло. — Если бы мне пришлось выбирать то единственное деяние, которое могло бы создать в будущем полностью совершенный мир, если бы мне пришлось выбирать ту единственную вещь, которая оставила бы в моём уме отпечаток, заставляющий меня воспринимать каждую отдельную деталь и личность в мире в виде полного совершенства, в виде ясного света и чистого блаженства, то я

выбрал бы именно то созерцание, которое мы выполняем нынче ночью.

Он кивнул, но продолжал пристально смотреть мне в глаза, требуя продолжения.

— Но что пользы в совершенном мире, который я создал только для себя, раз моя мать не может увидеть его? Что толку в совершенном Саде, если в нём может уместиться один-единственный эгоист?

— Слушай меня, — снова скомандовал мне Асанга. — Что тебе подсказывает логика? Поразмысли! Думай! Ведь ты за этим пришёл сюда, ведь этот Сад существует только ради этого, ведь именно для этого ты встречаешься и говоришь с нами, со мной.

Когда твоя мать заболела, когда рак начал выедать её грудь, затем поразил руки и живот, в конце концов прогрыз себе путь к её сердцу и разорвал его, залив алой кровью весь пол в вашем доме, разве мог найтись кто-нибудь, кто пришёл бы и мановением руки устранил её болезнь?

— Нет, никто — ни ей, никому другому, никогда за всю историю человечества.

— А что вызвало её болезнь?

— Согласно ранее полученным в Саду наставлениям всё это случилось с ней, потому что когда-то она забрала чью-то жизнь, не признав её ценности.

— А почему она не сумела признать ценность чужой жизни?

— Да потому, что она была такая, как все мы тут, как подавляющее большинство представителей человечества, которые влечат это существование и ужасно страдают всю свою жизнь, не знают конца и края этому страданию и не осознают, что это страдание не покинет их и после смерти, и часто, даже сильно страдая, вообще не понимают, что страдают, а уныло бредут, как скотина на убой, а то, бывает, берут нож мясника и сами режут себе глотку. А страдаем мы потому, что ещё раньше принесли страдание другим, хотя совершенно не понимаем, что именно в этом причина наших мучений. В своём стремлении защитить то, что считаем собственными интересами, мы отвечаем злом на зло, преумножая зло в этом мире, не понимая, что это зло неизбежно вернётся к нам в будущем.

— И как же это так случилось, что ты пришёл к пониманию этой

истины? — поинтересовался Асанга.

— Благодаря твоей доброте, — ответил я, заливаясь горячими слезами, а равно и доброте всех тех Учителей, которые приходят в этот Сад, чтобы показать мне, что истинный источник всей нашей боли — это та боль, что мы доставляем другим.

— А почему нам пришлось показывать тебе это? Почему пришлось рассказывать и расписывать, рассуждая вместе с тобой, заставляя тебя обдумывать сказанное, добиваясь твоего полного понимания? Разве нельзя было попросту взять всё, что нам известно, да и записать тебе в ум при помощи какого-нибудь колдовства, вместо того чтобы тратить эти часы на затянувшиеся дискуссии, уговоры и размышления?

— Нет, думаю, нельзя.

— Это почему?

— Если вы меня любите, то давно бы уже так сделали и мне незачем было бы приходить в Сад, я бы уже и так всё знал только потому, что вы этого хотите.

— А ты что, думаешь, мы сами понимаем просто потому, что понимаем? Или ты всё-таки думаешь, что когда-то давным-давно, в незапамятные времена, я был совсем как ты, ничего не знал о Пути, и только потом меня посетила благодать и я встретился с духовными наставниками?

— Скорее всего, когда-то ты был в точности таким же, как я. А потом встретил духовных наставников, дошёл до понимания их учений, и так вот в конце концов достиг конечной цели Пути.

— Вот мы и добрались до сути. Прошу тебя представить некий мир, в котором нет ни одного духовного наставника. Представь этот Сад в виде пустой тёмной чаши, куда не пробивается тот свет знаний, который ты не раз встречал здесь с той ночи, когда она явила тебе свою доброту, разрешив войти в это святилище.

Мне было не вынести этого зрелища, и я в ужасе замотал головой, пока он не привёл меня в чувство, снова хорошенько встряхнув.

— А теперь вопрос: что является самым лучшим, а на самом деле единственным способом помочь твоей матери? Может быть, ты собираешься поднести ей дом, в котором она сможет остаться, или удобную кровать, или кусок хлеба, пару яблок? Ты думаешь, это

поможет ей там, где она сейчас? Ты думаешь, ей это надо? Разве ты не знаешь, что, пока она пребывала в этом не лучшем из миров, у неё был свой дом, и спала она в кровати и съела за свою жизнь причитающуюся ей гору хлеба и фруктов? Прекрасно знаешь. Но разве всё это помогло остановить рак?

— Нет, нет... — всхлипнул я.

— Так что же ты пошлешь ей вместе с белым лучом из своего сердца?

— Я пошлю ей свет, фонарь, особенный такой фонарь, который приведёт её туда, где нет страдания, светильник понимания тех самых вещей, которым ты меня научил.

— А кто может быть её светильником? Кто действительно может полностью научить её Пути от начала до конца? Кто видит всё её прошлое, всё будущее и весь её ум? Кто точно знает, в каком знании она нуждается, по каким ступеням её провести?

— Только Просветлённый, — выпалил я.

— А что создаёт Просветлённого? — спросил Асанга.

— То же, что создаёт все вещи: деяния ума, деяния речи и деяния тела, — правда, чтобы создать Просветлённого, все эти деяния должны быть совершенно чистыми, они должны сеять в уме такие кармические зёрна-отпечатки, которые заставят нас видеть, как мы становимся Просветлёнными, — быстро ответил я.

— А какое же созерцание, — продолжал вопрошать он, — лучше всего подходит для засеивания таких отпечатков?

— Мне не приходит на ум ничего более полного и совершенного, чем та медитация, которой ты меня только что научил, — ответил я, внутренне успокаиваясь, — потому что это и есть сам Путь к состраданию — состраданию, которое любит других, как мы любим себя, да нет, даже больше и сильнее, чем мы любим себя.

— А теперь скажи мне, — сказал наставник, отпуская мои плечи и спокойно глядя на меня. — Вот ты можешь просто силой созерцания избавить свою мать от страдания, забрав его себе, и утолить каждое её желание, её высшие желания — даровать ей совершенное счастье и райское блаженство?

— Если такое созерцание превратит меня самого в Просветлённого и даст мне возможность прийти к ней и в совершенстве научить её Пути, то

да, — ответил я, внезапно задрожав от радости, — конечно, да, несомненно.

— Тогда посылай ей белый свет, — сказал Учитель Асанга, поднимаясь со скамейки, — посылай ей свой фонарь, будь этим фонарём. Посылай воду тем, кто жаждет, стань для них сосудом с водой. Пошли товарища тому, кто нуждается в опоре, стань этим товарищем. Будь возлюбленным для всех, кто одинок, и ребёнком для всех бездетных, работой для всех безработных, стань деревом с густой кроной для тех, кто ищет тень и прохладу в жаркий день, будь розой для тех, кто тоскует по красоте, — короче, будь всем желанным для всех людей, чтобы даровать им всё счастье, которое только возможно. Посылай всё это вместе с белым светом на выдохе.

Наше дыхание находится в гармонии с тонким телом, оно изменяется, отражая здоровье или недуг нашего тонкого тела. Но и тонкое тело, в свою очередь, находится под влиянием дыхания, и, по мере того как ум очищается, дыхание вместе с тонким телом сливаются в единое целое. И то, что дыхание твоё несёт в себе свет, подействует на тебя... Нет, пожалуй, я пока не могу тебе всего этого рассказать.

Посвяти себя практике «принятия и дарования». Тебе обязательно откроется истинное сострадание, но ты должен продолжать созерцание. Шепни себе среди суеты рабочего дня: «Отдавать и принимать» — пусть эта фраза вертится у тебя в голове, пусть она будет у тебя на устах, пусть она будет как само дыхание. Ты можешь заниматься этой практикой где угодно: на рынке, во время еды, во время работы, в кровати перед сном. И она приведёт тебя — уж поверь мне — в твой рай, в твой собственный Сад, куда ты должен сперва попасть сам, если надеешься найти свою любимую матушку и помочь ей.

Ну а теперь, сынок, — он наклонился и что-то протянул мне, — доел бы уже пышки, ведь я так старался!

Глава 10



ВОИН. ШАНТИДЕВА

Встреча с Учителем Асангой, наверное, более всех остальных встреч повлияла на мою повседневную жизнь. К моему удивлению, обнаружилось, что до сей поры я проявлял совсем мало интереса к текущим страданиям, которые вынужден был испытывать и которые легко мог предсказать на несколько дней вперёд, но ещё меньше — к тем неизбежным мукам, которые сопровождают тяжёлые болезни, немощную старость и саму смерть. Иными словами, практика избавления самого себя от грядущих несчастий показала мне, какая же всё-таки большая часть моей жизни была прожита в отказе взглянуть в глаза этой самой неизбежности. Похоже, я и окружающие меня люди выработали изощрённые внутренние механизмы, позволяющие полностью блокировать любую озабоченность по поводу столь очевидной тщетности большинства наших повседневных занятий.

Когда я почувствовал себя готовым, то стал брать на себя незначительные страдания близких мне людей, и сразу ко мне пришло ещё одно осознание: насколько же мало истинного интереса я раньше проявлял к их горестям, да что там мало — почти никакого. Правда, матушка ещё в детстве познакомила меня с правилами приличия, и мне было известно, что у нас в разговоре принято вежливо поинтересоваться здоровьем и благополучием собеседника и его ближайших родственников. Но, задавая такой вопрос, мы не очень-то хотим услышать подробный ответ на него, особенно от пожилых людей, когда, обрадовавшись случаю поговорить, они нередко вываливают на нас такое множество подробностей о своих болячках, передрыгах, успехах и неудачах внуков и правнуков, которые нам не хочется ни знать, ни даже слышать. Впрочем, большинство из нас давно уже выработало способ ведения подобных бесед: слушать не слушая, пропускать мимо ушей старческие сетования и поддакивать в нужных местах разговора. Думаю, что наше невнимание к таким темам объясняется тем, что сами-то мы здоровы, да и наши близкие вроде бы как тоже, а то, что пожилые люди ворчат и жалуются на радикулит и всё такое, так это всегда так было, так

уж им положено.

Правда, теперь я понимал неизбежность того, что пролетит не так уж много времени, и вот уже я сам буду греть кости где-нибудь на завалинке, жалуясь на свои хвори вежливо зевающему в сторонку молодцу, который будет игнорировать меня точно так же, как и я в дни беззаботной юности игнорировал других. Наверное, всё дело тут в неосознанном, но твёрдом убеждении в том, что мы не можем сделать ровным счётом ничего, чтобы оградить наших пожилых собеседников от старения и разрушения, которые с каждым безжалостным годом всё заметнее проступают на их увядающем теле.

Ещё я понял, что во время созерцания отдачи и принятия совершенно необходимо чётко определить и ясно представить в своём уме то конкретное страдание, которое в данный момент принимаешь на себя, избавляя от него себя самого в будущем или кого-то ещё. Уже само действие по составлению списка страданий немедленно начало повышать мою восприимчивость к чужой боли, и с законной гордостью я вскоре увидел, что если буду продолжать созерцать регулярно, то почти наверняка смогу развить ту степень сострадания, которая так восхищала меня в тех редчайших людях, которые уже её достигли. Мысль о том, что я смогу научиться любить других в не меньшей степени, чем самого себя, была мне особенно приятна и по-настоящему вдохновляла.

Однако самое главное моё понимание состояло в следующем. Во-первых, я должен поддерживать искренность своей мотивации избавиться от боли и страданий всех, кто меня окружает, а по сути дела — всех живых существ, которых я могу представить, а во-вторых, продолжать совершать священнодействие по исполнению всех насущных и сокровенных желаний всех и каждого, вплоть до наделения их высшим счастьем. И вот тогда — в соответствии с полученными мною в Саду всесторонними и убедительными объяснениями по поводу тех сил, что создают наш мир и нас самих — я действительно смогу узнать, как покинуть эту сферу страданий, неуклонного старения и неизбежной смерти и перейти в такую сферу, где ничего этого просто больше не существует. Наконец моя надежда отыскать когда-нибудь свою мать и привести её туда стала реалистичной, получив разумное обоснование.

В общем, созерцание отдачи и принятия стало постоянным содержанием моей жизни с утра до вечера, как и советовал Учитель Асанга. Никто ничего не знал о моей практике, я держал язык за зубами и

находил странное удовольствие, например, в том, чтобы мысленно желать моему бывшему недругу, хранителю библиотеки, всего того, что он сам себе желает. Неделя сменялась неделей, проходили месяцы, и я стал ловить себя на том, что мои фантазии материализуются, становятся действиями. И вот уже из родника неподалёку я несу ему кружку холодной воды в жаркий июльский полдень, когда солнце начинает нещадно палить в окна библиотеки. И вот уже вместо того, чтобы исподтишка саботировать его распоряжения, я нахожу способы облегчить его труд путём нашей плодотворной совместной работы.

Вскоре — и это было неизбежно — он начал отвечать мне такой же заботой и добротой, а я всё удивлялся, как же мне не пришло в голову с самого начала так вести себя с ним. Никак мне было не понять, что же мне раньше мешало увидеть, что самый благотворный, самый правильный и даже, пожалуй, праведный способ работать бок о бок целыми днями заключался в том, чтобы думать о потребностях друг друга и изо всех сил пытаться эти потребности удовлетворить.

Во время моих вечерних молитв и обзора дневных поражений и побед я начал понимать, что независимо от абсолютного и невообразимого воздействия, которое окажет на мою завтрашнюю реальность умение брать и отдавать, эта практика уже начала наполнять мой сегодняшний мир радостью.

Однако мысль о матери, равно как и страстное желание снова увидеть златовласку — чувство, которое не только никогда не покидало меня, но даже и усиливалось по мере того, как я начал добиваться настоящих внутренних успехов, — продолжали направлять мои духовные усилия. Инстинктивно я чувствовал, что должен существовать какой-то способ, при помощи которого можно было бы превратить воображаемое действие практики отдачи и принятия во вполне конкретный образ жизни. Поэтому я снова оказался в Саду, на этот раз в середине осени, которая в нашей пустыне мало отличается от её начала или даже конца лета, разве что постепенным понижением ночной температуры.

По своему обыкновению, я вошёл в калитку поздним вечером. Это объяснялось не только долгой дорогой, но и тем, что ночь всегда была нашим с ней любимым временем, ведь остальные посетители Сада и маленькой каменной часовни, чья стена составляла одну из его оград, к тому времени давно уже расходились по своим домам, к семьям и вечерней трапезе. Невинность златовласки простиралась так далеко, что

подчас её вообще не интересовало, во что и как она одета и одета ли вообще, а поведение было начисто лишено вожделения и вместе с тем столь бесхитростно, что редкие люди, которым мы иногда всё-таки попадались на глаза, понимали эту свободу в обращении как нечто непристойное. Её уроки носили очень личный характер, и она давала мне эти уроки исключительно наедине; вот почему когда я увидел монаха, стоящего передо мной под чинарой, то ещё раз вспомнил, что, сколько бы раз мы с ней ни приходили в Сад, там никогда не было ни одной живой души.

Монах дружелюбно поглядывал на меня, а мои глаза пристально изучали его, пока я шёл к нему от калитки мимо прекрасных степных роз слева и невысоких ароматных сливовых деревьев справа. Сначала бросались в глаза сами размеры его фигуры: он был высокий и крепкий, не худой и не полный, а скорее жилистый, излучающий особый род здоровья — силу и выносливость. Но когда я подошёл ближе, то увидел, что весь его внешний вид определяется совсем другим, а именно выражением полного удовольствия на его лице и широкой обезоруживающей улыбкой во весь рот. Это была не та подленькая ухмылка, заметив которую на дружелюбных лицах окружающих вы начинаете судорожно проверять, всё ли у вас в порядке с одеждой, а честная и радостная улыбка, которая вызывает у вас желание расплыться в ответной улыбке. Что я и проделал, после чего монах просто-таки засиял.

И как же я сразу не узнал лицо прославленного Шантидевы, наставника искусства повседневного сострадательного действия, который тринадцать веков назад оставил нам полный и совершенный путеводитель по праведной жизни? Хотя, сказать по правде, у меня толком не было времени на то, чтобы разглядеть его, ибо он бросился мне навстречу, сократив наполовину мой путь к чинаре, закинул руку мне на плечо и увёл меня в тот прелестный уголок Сада, где ручеёк, вытекающий из фонтана, журчит вдоль восточной стены, прокладывая себе дорогу сквозь цветущие растения. Этот источник живительной влаги позволяет им наслаждаться редкой возможностью ежедневно одеваться в яркий пурпур и золото, не дожидаясь нечестных гроз — обычной для пустынных растений причины принарядиться, да и то всего лишь на несколько часов.

— Вижу, ты разочарован. Понимаю, — с видом моего давнего

товарища забасил он глубоким радостным голосом, подобно яркой лампе проливая на меня тепло и свет своей улыбки. — Что толку постоянно думать о путешествии, да так в него и не отправиться?

Я уже отчасти по привычке к таким внезапным — а каким же ещё? — экспромтам Мастеров Сада; до меня давно дошло, что они, похоже, знают все мои мысли. А ещё я узнал, что поскольку, как считается, они уже достигли сверхъестественных уровней сознания, то им так же легко выражаться на языке метафор, как и на языке реалий, к которым эти метафоры относятся. Непонятно? В данном случае я просто хочу сказать, что я понял, что он понял, что я хочу научиться по-взрослому воплощать в жизнь пусть ещё детское сострадание, которое начинало вовсю гореть в моей груди; а также, что я хочу немедленно и вплотную заняться неотложными делами: реальными поисками и действенной, практической помощью моей матери и решению загадки госпожи Сада.

Вдруг он остановился как вкопанный и подхватил меня под руку. Мы сцепились локтями, как два солдата, давшие друг другу клятву стоять до последнего.

— Ты обрёл сердце, — просто сказал он, — стань же Воином.

Его слова и странный жест полностью застали меня врасплох, потому что ещё ни разу в моей жизни я не думал о слове «воин» применительно к себе.

— Кем-кем? — слегка оробев, переспросил я.

— Воином, — с чувством произнёс он, — изначальным Воином. Воином, который убивает саму смерть; не только твою собственную, но и смерть всех остальных.

Я много чего наслушался в Саду, достаточно для того, чтобы понимать, что Учитель Шантидева и не думал шутить. Он даже не преувеличивал. Я затих и приготовился слушать.

— Воин, — начал он, — действует шестью различными путями; так, по крайней мере, это выглядит с его точки зрения. Он действует путём *совершенств*.

— Научи меня этим совершенствам, — попросил я, — пожалуйста.

— Совершенства — это деяния, которые делают тебя совершенным; в тот день, когда они будут истинно совершенными, ты станешь Просветлённым и сможешь по-настоящему остановить страдания других

и обрести свой собственный окончательный покой.

Начнём с **даяния**. Воин отдаёт всё, что имеет: отдаёт все вещи, которые у него есть, отдаёт всё добро, которое когда-либо сотворил, отдаёт даже своё тело.

— Я — отдаю, — ответил я, обратив свой ум к даянию. — Скажу, не кривя душой, — скорее часто, чем редко я даю людям то, в чём они нуждаются, когда владею тем, что им нужно.

— Владеешь? — переспросил он, как будто слово это было ему незнакомо.

— Владею, обладаю, располагаю. Вещи, которые мне принадлежат, — короче, моя собственность.

Учитель Шантидева хихикнул и спросил:

— А чем ты владеешь?

— Ну, разными своими вещами, — ответил я, — куртка, что на мне, дома там книжки разные, в спальне — кровать, в стойле — конь, и всё такое.

— Куртка, говоришь? — невинно спросил он.

— А что? Куртка как куртка, я её надеваю, когда холодает.

— И ты владеешь своей курткой? — продолжал он выпрашивать.

— Ну конечно, — ответил я, теряя терпение, — кто ж ещё, как не я?

— И ведь верно, — задумчиво проговорил он. — А в чём выражается то, что ты ею владеешь?

— Как это — в чём? Она моя, захочу — надену, захочу — сниму, захочу — вообще продам! Что хочу с ней, то и делаю. Только я, и никто больше.

— Продам-сниму-надену? — передразнил он. — Когда хочешь — надеваешь, когда хочешь — снимаешь, когда хочешь — продаёшь?

— Именно! — ответил я, не понимая, к чему он клонит.

— Итак, ты можешь сказать определённо, — продолжал настаивать Шантидева, — что эта куртка будет у тебя и завтра? Что ты полностью распоряжаешься этой курткой?

Я не отвечал, задумавшись. Владеть — значит распоряжаться; я

владею своей курткой, потому что распоряжаюсь ею, в том смысле, что могу оставить её себе, а могу отдать, и никто, кроме меня, не может принять такого решения. Но можно ли с уверенностью сказать, что эта куртка и завтра будет моей?

Я прилежно размышлял, пока наконец истина не вырвалась наружу:

— Нет, я не могу сказать, что моя куртка и завтра останется со мной. У меня её могут отнять или, скажем, стащить. Я могу её порвать, зацепившись за гвоздь. Она может обветшать и развалиться на куски по дороге домой. Она даже может — я ещё глубже задумался — потерять своего хозяина. Такова уж природа всех курток: они стареют, они изнашиваются, они протираются до дыр, они разваливаются и, таким образом, покидают нас, или, наоборот, мы покидаем их, когда умираем, и вот уже пошла моя курточка гулять по свету в поисках нового хозяина: другие люди берут её и примеряют на себя — вдруг кому она окажется впору.

— Итак, на самом деле, — тихо проговорил Шантидева, — ты вовсе не распоряжаешься своей курткой. Ею распоряжаются другие силы. Как пришла, так и ушла.

Я молча кивнул.

— Более того, даже своей кожей, даже своим собственным лицом или именем ты распоряжаешься не больше, чем своей курткой, ибо они достаются тебе и изымаются у тебя независимо от того, хочешь ты их оставить себе или нет.

Я снова кивнул.

— Вот почему, — продолжал наставник, — я и говорю о том, что нужно отдать все вещи, которые ты используешь, потому что ты — всего лишь *пользователь, временный пользователь*, а вовсе не собственник. Тебе на самом деле ничего не принадлежит. Поэтому отдавай всё, что пока ещё имеешь, пока ещё можешь отдавать, ибо скоро, совсем скоро у тебя не останется ничего.

— Что это за вещи, которые надо отдать? — спросил я. — И как мне отдать их, раз уж моя судьба — стать Воином?

— Начни с материальных вещей, — ответил наставник. — Внимательно приглядывайся к людям, ставь себя на их место; следи за их глазами, отмечай, чего они ищут. Начни с простого — с чашечки чая, с

пары перчаток, даже с пригоршни хлебных крошек для пернатого друга.

Мне показалось, что для кормления голубей вроде бы не нужен столь могущественный Воин; но, прежде чем эта мысль отзвучала в моей голове, Шантидева, словно угрожая, поднёс к моему носу свой кулачище; указательный палец был выпрямлен, сухожилия на его руке вздулись до самого плеча, покрытого монашеской одеждой.

— Только Воин может в совершенстве накормить птичку! — грозно пояснил он.

Я беспомощно глядел на него, ничего не понимая.

— Только Воин, — повторил он, — смог бы взглянуть на птицу и тут же понять истинную природу птицы и природу кормления птицы хлебом. Только Воин смог бы понять, в совершенстве постигнуть, что действие по подношению птице хлеба может быть совершенством даяния — даяния, которое приводит всех без исключения живых существ повсеместно к окончательному и полному совершенству. Для Воина совершенство даяния подношения состоит в том, чтобы отдавать с полным осознанием того, как это даяние в будущем создаст рай за пределами всех смертей и страданий для любого, кто отдаёт в совершенстве.

— А в чём состоит совершенство даяния?

— Когда мы отдаём с совершенным осознанием того, что являем щедрость с целью достичь собственного совершенства и, таким образом, стать совершенным слугой для всех живущих, — это даяние помещает в наш ум отпечаток, заставляющий нас стать этим совершенством.

— Значит, если отдавать с чистым сердцем, то такое даяние и есть совершенство? — уточнил я.

— Несомненно, — был ответ.

Что-то в этой идее не до конца меня устраивало.

— Так что ж, выходит, не имеет большого значения, что именно мы подносим, — лишь бы отдавать с этим совершенным намерением?

— Если ты подносишь с совершенным намерением, — поправил меня монах, — то, естественно, ты отдаёшь самое лучшее из того, что имеешь; ты подносишь именно то, что принесёт наибольшую помощь, то, в чём больше всего нуждаются, то, чего больше всего хотят; ты подносишь, используя все имеющиеся в данный момент в твоём распоряжении

средства. Воин является Воином с большой буквы не только потому, что он *готов* пожертвовать своей жизнью, но и потому, что он делает *всё*, чтобы *отдать* свою жизнь, когда приходит время для такой жертвы.

— Так, значит, мы должны всё отдать? — почесал я в затылке.

— Всё. Но с умом. Большой ошибкой будет отдать больше, чем мы способны отдать, а потом чесать в затылке и жалеть о содеянном. Поэтому мы должны отдавать столько, сколько сумеем, может быть, даже больше, чем мы думаем, но никогда нельзя давать больше, чем мы можем отдать с радостным сердцем. Начни с малого, прибавляй в час по чайной ложке, медленно, но верно наращивай совершенство, и тогда в конце концов ты будешь в состоянии отдать всё, ибо, только отдавая всё, мы можем достичь всего и уж тогда действительно даровать каждому, кто нуждается, всё то, в чём он нуждается.

— А мы только вещи должны отдавать? — снова спросил я.

— Не тебе бы задавать такой вопрос! Уж ты-то знаешь, что высочайшее подношение, которое только можно получить, было пожаловано тебе самому на святой земле этого Сада, — это дар понимания того, что именно создаёт нас самих и этот мир, понимания того, как из мира утрат и страданий его можно превратить в мир блаженства.

Он взял меня под руку, как будто собираясь увлечь мимо тёмного угла Сада к ярко освещенной лунным светом восточной стене, где ручеек щедро поил своей водой осенние цветы. Мы и двух шагов ещё не сделали, как он вдруг отпустил мой локоть и слегка толкнул меня в бок; я споткнулся, однако удержался на ногах и повернулся к нему слегка озадаченный. То, что я увидел, удивило меня ещё больше: его мощный торс низко наклонился к земле, большое овальное лицо было обращено вниз, а умные сосредоточенные глаза пристально вглядывались в траву. Он протянул руку и подхватил прекрасную божью коровку вишнёвого цвета с чёрными пятнышками на спине. Та покрутилась-покрутилась на кончике его безымянного пальца да и улетела в небо, расправив крылья.

— Вот тебе и третий вид даяния, — сказал он со смехом, разгибаясь мне навстречу. — Третий вид даяния, который есть дарование защиты. А ведь ты чуть не наступил на нашу маленькую сестричку.

Я застыл, оглядывая траву, — не наступить бы ещё на какого-нибудь родственника. Его слова меж тем напомнили мне кое-какие мысли,

которые некоторое время не давали мне покоя.

— Но если я наступил на неё... — начал я.

— Ну и? — Его тело чуть выпрямилось, казалось, передо мной стоит опытный боец, участник многолетних дебатов на поле брани самого Мышления.

— Я смог бы раздавить её, если бы в её собственном уме был кармический отпечаток, который заставил бы её видеть саму себя, испытывающую боль; то есть отпечаток, который попал в её ум, когда она в прошлом сама причинила кому-то страдание.

— Верно, — промолвил он со спокойной уверенностью, похожий на фехтовальщика, который знает все замыслы своего противника на три хода вперёд.

— А вот если бы у неё не было такого отпечатка в уме, то я не раздавил бы её, даже если бы и наступил, — например, она могла попасть в прорезь на подошве моего ботинка и улететь, не получив ни одной царапины.

— И это верно, — подтвердил мой бесстрашный оппонент.

— Значит, на самом деле, — продолжал я, — ты не поднёс ей никакого дара, не дал ей вообще никакой защиты. Твоё действие ничего не изменило, да и толкать тебе меня было ни к чему: всё зависело от тех отпечатков, которые уже были в её уме.

— Скажи, только подумай хорошенько, — ответил Учитель Шантидева; в его голосе явно звучало предупреждение. — Есть ли противоречие в том, что ты делаешь всё, что в твоих силах, чтобы спасти живое существо, и в том, что ты практикуешь совершенство даяния, при этом вообще не имея никакой реальной власти спасти жизнь этого существа?

— Ещё какое противоречие! Полное противоречие, — мгновенно парировал я. — Это действие выглядит как совершенство тщетности усилий.

— Итак, ты хочешь сказать, — подхватил он, — что Просветлённых вообще не существует, что нет никого, кто когда-нибудь достиг совершенства?

— Не вижу, как одно вытекает из другого! — опешил я.

— А вот так, — с ловкостью обезоруживая меня, ответил он, снова напомнив фехтовальщика, который задумал свою атаку за несколько мгновений до этого. — Потому что согласно твоим выводам получается, что эти существа так и не смогли достичь высшей формы совершенства даяния.

— Как это не смогли? Ещё как смогли, — ответил я. — Вы же сами мне говорили, что именно их способность выполнять шесть совершенных действий — даяния и других — позволяет охарактеризовать их как Просветлённых.

— Но ведь они *не довели* даяние до совершенства, — продолжал настаивать Шантидева.

— О чём вы?

— Из твоих слов следует, что они не довели даяние до совершенства; потому что в мире всё ещё есть люди, которые бедны, люди, которые голодают. Как они могли довести даяние до совершенства, как может их даяние быть совершенным, если остаются люди, которые доведены нуждой до отчаяния? Где же тут совершенство даяния?

На этом поток моих неосторожных слов прервался. Я стал думать. До меня начало доходить, что совершенство добродетели состоит не в завершенности её внешних результатов, а во внутреннем совершенстве этой добродетели, обязательно сопровождаемом его совершенным выражением. Опять непонятно? Углубившись в размышления, я, кажется, понял. Если я когда-нибудь научусь практиковать щедрость в совершенстве, то это не будет означать, что тут же должна будет исчезнуть нищета всех живых существ, потому что бедность, которую испытывает каждый отдельный человек, есть прямой результат недостатка его собственной щедрости и она (бедность) не может быть побеждена до тех пор, пока сам он не научится отдавать. Тем не менее сам я могу совершенствовать своё отношение к даянию — я могу научиться отдавать всё, что имею, а также научиться отдавать всем живущим без исключения. В то же время это не означает, что я могу просто сидеть и размышлять о даянии, так ни разу и не попытавшись отдать, потому что никто не может иметь совершенное намерение отдавать, если это намерение никак не выражает себя в каждом его действии и помысле. Учителю Шантидеве я сказал лишь:

— Я понял. Я теперь всё понял.

— Хорошенько запомни это, — ответил монах, и мы снова пошли по ночному Саду. — Запомни, потому что это применимо ко всем совершенствам; потому что это и есть сам путь Воина.

Несколько минут мы шли, не говоря ни слова, а я как раз размышлял над тем фактом, что чем больше я понимаю, тем, кажется, всё больше обретаю способность к молчанию. Похоже, молчание само по себе есть отражение удовлетворённости, истинной удовлетворённости, — той эмоции, тепло которой излучал шагавший рядом со мной наставник. Наконец, нарушив тишину, я спросил его о следующем совершенстве Воина.

— Второй путь Воина, — пророкотал он своим глубоким голосом, — состоит в том, чтобы вести добродетельную жизнь, то есть жить в совершенстве нравственности, избегая причинения любого вида вреда другим живым существам.

— Вы, наверное, имеете в виду, — уточнил я, — что следует избегать десяти видов недобродетели?

— Да, — отозвался монах, — но, по мере того как ты будешь расти духовно, ты должен будешь изучать и осваивать ещё более глубокие и высокие нравственные кодексы — ты должен ежедневно узнавать всё больше о том, что такое хорошо и что такое плохо.

— А какие ещё бывают этические кодексы? — спросил я.

— Тебе уже известен кодекс воздержания от десяти скверных поступков, и, как мне известно, ты соблюдаешь кодекс из пяти пожизненных обетов мирянина. Когда ты будешь готов, то должен будешь продолжить путь, приняв кодекс оставления мира, который заключается в том, что ты больше не владеешь ничем и никем: у тебя нет дома, нет семьи, нет никакой собственности — ничего, кроме обязательства посвятить себя духовному образу жизни.

Когда ты осилишь и этот кодекс, то должен будешь принять полный кодекс Воина, определяющий образ жизни, движимый желанием стать Просветлённым. Ты пойдёшь по миру, но это не значит брести неприкаянным бродягой в чужих краях, словно впотьмах, — это значит шествовать истинным Воином, настоящим рыцарем, идти по жизни, как по торной дороге в густом лесу. Ты будешь постоянно и зорко смотреть вокруг себя, не зовёт ли кто тебя, не нуждается ли кто в тебе, не нужна ли кому твоя помощь, не требуется ли кому твоя верная служба, в чём бы

она ни выражалась. Ты будешь помогать всем и во всём — от предоставления самой скромной поддержки до подношения высочайших духовных даров включительно.

Но есть кодекс ещё более высокий, чем этот, кодекс, к следованию которому ты должен прийти в этой жизни, но научить тебя ему сможет только другой, а точнее, другая — та, с которой ты связан так, как и представить пока не можешь. Чтобы принять на себя этот кодекс, ты должен будешь раскрыть в себе почти запредельную любовь к другим и такую же способность к преданности.

К тому времени мы уже почти вышли из темноты и на другом берегу ручейка в лунном свете смогли даже разглядеть небольшие красные бутоны на крошечных круглых и очень симпатичных кактусах, то здесь, то там прячущихся между камнями. Мы стояли у кромки воды и безмятежно взирали вниз. Меня охватило чувство глубочайшего покоя, мой ум слился и тёк вместе с ручейком к далёкому морю; казалось, океан вливается сам в себя, вбирая... и тут этот... Учитель Шантидева опять толкнул меня локтем, но на этот раз уже со всей силы, так, что я не только потерял равновесие, но и пролетел через ручеёк, набрав воды в ботинки, чуть не вывихнув ногу, содрав руки о камни на том берегу и уколотившись о кактусы, которые уже не казались мне такими симпатичными. Проклиная ни в чём не повинные колючки, я повернулся с тем же намерением к монаху и увидел, что он всё ещё стоит на траве, запрокинув голову к звёздам, и хохочет низким утробным басом, далеко разносящимся в ночи. Я испытал острый приступ одновременно боли, смущения и злобы — слишком неожиданным был мой полёт и уж совсем неожиданной была его причина. Грязный и окровавленный, я молча уставился на него, но мои глаза требовали объяснений.

— Третий путь Воина, — пророкотал он сквозь свой затихающий смех, — в этом-то и заключается, а именно в умении не разозлиться в тот самый момент, когда гнев ещё только начинает разгораться. Пожалуй, это самое трудное из всех духовных искусств; оно требует несравнимо большего опыта, чем все эти длиннющие неподвижные медитации и тому подобные практики, оказывающие неизгладимое впечатление на несведущих людей.

— Думаю, я смог бы понять твою мысль, — сухо ответил я, выдёргивая колючки из ладоней, — и не рискуя переломать себе ноги об эти камни.

— Тут я хотел научить тебя сразу двум вещам, — сказал Мастер, как будто даже не слыша моей реплики. — Но сначала иди уже присядь на это ложе из пальмовых листьев и просуши ноги. Вот так, давай сюда свои мокрые ботинки.

Я стащил с себя ботинки и протянул их Шантидеве, который отправился с ними к связкам пожелтевших листьев, сваленных в кучу под финиковой пальмой неподалёку; там он повернулся, медленно опустился на неё и стал ожидать меня. Я широко шагнул было вперёд, но тут же сбавил шаг, потому что мне пришлось голыми ногами идти по земле, сплошь покрытой колючими кактусами.

Он наблюдал за моими перемещениями с озорной улыбкой и продолжал говорить, как будто вовсе не замечая моих трудностей.

— Первый урок заключается в том, что болезненные ситуации могут настичь тебя в любой момент, — думаю, ты успел это заметить на примере собственной жизни. Факты, которые тебя огорчают, люди, вызывающие твой гнев, ситуации, испытывающие твоё терпение, встречаются сплошь и рядом, окружая тебя со всех сторон. Они наносят удар в тот момент, когда ты менее всего к этому готов, они исходят от тех людей и вещей, от которых ты менее всего их ожидаешь.

Я с трудом пробирался по колючкам, едва разбирая его слова. Назад было поворачивать уже поздно, до него было идти ещё далеко. Я остановился, ожидая паузы, но её не последовало.

— Людям, которых ты терпеть не можешь, нет конца. Ситуаций, которые тебя расстраивают, не счесть. Только ты избавишься от хранителя библиотеки, как — не пройдёт и недели, можешь мне поверить — появится кто-то другой, чтобы испытать тебя на прочность. Вспомни, все они порождаются отпечатками в твоём уме: избавишься от одного, как его тут же сменит другой. Можно порвать отношения с нечистым на руку компаньоном, можно переехать в другую местность или сменить работу, чтобы не видеть раздражённое лицо начальника, но очень скоро все эти ситуации повторятся.

Его разглагольствования начинали меня раздражать; я застрял посреди кактусов, мои ступни горели от боли, а он продолжает как ни в чём не бывало, даже не удосужившись взглянуть на мои страдания.

— Может, ты и прав, — сказал я, — но лично я уверен, что моя жизнь стала бы намного приятней, если бы её покинули один-два человека,

вроде хранителя библиотеки, а также если бы я смог побольше заработать, чтобы лучше обустроить своё жилище.

— Ты забыл про коня, — напомнил мне наставник.

— Ах да, и коня тоже сменить на более послушного. Я с ним так мучаюсь по утрам, когда запрягаю, а сам уже опаздываю на работу, — отвечал я и, пытаюсь выбраться из колючек, шагнул влево, но сразу обнаружил, что там они ещё гуще и острее.

Нет, вы только на него посмотрите, он и не думает мне помогать, он даже на меня не смотрит!

— А дорога домой?

— Ты прав, я совсем о ней забыл. Наполовину в пыли, на треть в камнях. Я и так бываю под вечер совершенно измочален своими попытками поладить со старшим хранителем, а тут ещё эта дорога. Просто пытка.

Я балансировал на одной ноге, согнув другую в колене и пытаюсь вытащить иголки из пятки, чтобы на неё можно было наступить. Мне уже почти было ясно, что Шантидева не только полностью понимает, как я влип, но и нарочно всё это подстроил, чтобы меня искалечить. Я оглянулся назад, не уйти ли мне отсюда по ручью, да вот только как до него добраться?

— А как же та книга комментариев, которую ты пытался прочесть?

Забыв обо всем, я твёрдо встал на обе ноги, даже слегка притопнул левой:

— Не напоминай мне! Кто мог написать такое? И по такому архиважному вопросу! Быть того не может, чтобы это нельзя было написать пограмотней! — И тут моё терпение лопнуло. — Мастер, может, вы уж соизволите встать и вытащить меня из этой засады? — вежливо поинтересовался я, скрипя зубами.

Он в мгновение оказался на ногах и одним прыжком преодолел расстояние между нами; он и правда был высок и силён и свою силу в тот момент направил на меня.

— Что ты делаешь?! — заорал он.

— Пытаюсь выбраться из колючек, а вам и в голову не приходит мне помочь! — прошипел я в ответ.

— Да я не об этом. Что происходит у тебя в уме? — уточнил он.

— Пытаюсь обдумать, как проложить себе путь через эти колючки, ясное дело, — резко отозвался я.

— Опять не то! Я имею в виду, осознаёшь ли ты, куда идут твои мысли?

Я помедлил, потом ответил:

— Мы обсуждали некоторые проблемы моей жизни, мы обсуждали несколько важных вещей, которые... ну, короче, если их изменить, то я стану намного счастливее.

— Но разве тебе не показалось, что ты слышишь о тех вещах, которые касаются почти всех подробностей твоего дня? Разве ты не заметил, что чуть ли не каждый аспект твоей жизни образуется из вещей, которые тебя беспокоят, — из вещей, которые огорчают или раздражают тебя?

Я опять помедлил и снова увидел, что он прав. Даже если бы я убрал то, что можно назвать первым слоем, так вот, если бы я полностью убрал первый слой тех жизненных проблем, которые более всего раздражают меня, то под ним обнаружился бы ещё один, второй слой, а под тем — третий и так далее, и этому не было бы ни конца ни края. Проблема заключена, возможно, не столько в функционировании природы моей жизни, сколько в том, что она есть отражение моего ума, точнее, такого состояния моего ума, которое сможет найти недостатки во всём, что только появляется в нём.

Он стоял передо мной и кивал головой, как бы поддакивая, как будто знал, к каким выводам я только что пришёл. А потом вдруг опустился прямо в кактусы, положил мою босую ногу себе на колени и стал заботливо извлекать из неё острые шипы, не пропуская ни одного. Он проделывал это в полном молчании и так непринуждённо и естественно, что я даже не успел поразмышлять над необычностью ситуации: один из величайших духовных авторитетов, когда-либо живших на этой планете, смело садится передо мной в колючки, не боясь уколаться, и с материнской любовью врачует мои раны. Он провёл рукой по моим задубевшим от воды штанам ниже колен, и они мгновенно высохли, стали тёплыми и приятными на ощупь. Мои исколотые стопы вновь ожили и потеплели в его руках, пока он надевал на них ботинки уже совсем сухие и мягкие.

Он поднялся и ласково сказал:

— Пойдём под дерево и передохнём. Прости, если причинил тебе боль, но я хочу, чтобы ты запомнил эти колючки, запомнил, как вымок насквозь, как ни с того ни с сего упал в ручей. Ты смотришь на свой мир не мудрым взором Воина, а помутнённым взором безумца, — продолжил он. — Перестань уже считать своё путешествие сквозь каждый божий день мучительным преодолением полосы препятствий в виде отвратительных людей, непослушных животных, опасных вещей и неприятных ситуаций. Перестань уже бороться с ветряными мельницами! Ты не сможешь победить их всех, ты не можешь сразиться с каждым негодяем, не можешь всех их убрать со своего пути, как не можешь убрать всех камней и вымести всю пыль со своей дороги из дома в библиотеку.

Та наивная мечта, которую ты лелеешь в глубинах своего ума — мол, если убрать несколько наихудших жизненных проблем, то жить станет лучше, — есть бесконечная ловушка. Если ты не выбросишь её из головы, то она, вне всякого сомнения, будет продолжать делать тебя несчастным, потому что никогда не сбудется. Если ты дашь себе труд шевельнуть извилиной, то тебе придётся это признать. Твой мир, по крайней мере тот мир, который сейчас тебя окружает, больше похож на этот клочок земли, покрытый колючками, и ни по какому щучьему велению не станет он лужайкой с мягкой травой.

Представь себе глупца, который босиком снует туда-сюда по нашему Саду с охапкой выделанных шкур кожи и стелет огромные куски кожи повсеместно — на каждый терновый куст или кактус, на каждую каменистую или пыльную тропу. А теперь посмотри вниз на свои ноги, обутые в простые кожаные ботинки, которые прямо по колючкам вывели тебя из зарослей и привели под эту прекрасную пальму. Бороться против каждого раздражающего нас объекта, против каждого недруга в этом мире — это всё равно что пытаться покрыть кожей всю земную поверхность; так что лучше уж носить обувь, лучше уж овладеть искусством побеждать свой собственный гнев, лучше научиться невозможности и самообладанию.

Он усадил меня на ложе из сухих пальмовых листьев, и какое-то время мы наслаждались ароматами ночного воздуха. Потом у меня снова появился вопрос.

— Но я часто замечал, — сказал я, — что лучше себя чувствуешь, когда открыто выражаешь свой гнев, избавляешься от него, что ли, —

даже облегчение вроде наступает.

Он расхохотался своим глубоким смехом прямо мне в лицо.

— Что ж, иногда действительно не лишено смысла искренне и адекватно проинформировать того, кто причиняет боль тебе или другим, что он не прав, — если только здоровья хватит, если только ты уверен, что это поможет достойно погасить конфликт. Но сама идея, что любые мысли или выражение гнева могут быть полезными... — Тут он опять хохотнул. — Чтобы в это поверить, надо либо совсем ничего не знать о кармических отпечатках вообще, либо так и не суметь осознать, насколько разрушительным может быть гнев в частности.

— Я хочу, чтобы ты запомнил это, — уже серьёзно сказал Шантидева. — Я хочу, чтобы ты запомнил, как несколько минут назад готов был сбежать отсюда по ручью. Я хочу, чтобы ночами, которые ты в дальнейшем проведёшь в Саду с другими святыми подвижниками, ты поразмышлял над тем, как, разозлившись на старика Шантидеву за несколько колючек в своей пятке и мокрое пятно на штанине, ты чуть было не отказался от того, что, несомненно, является высшей наградой человеческой жизни. Нет, нет и нет, ты не можешь позволить себе гнев даже на мгновение, ибо за это мгновение он может уничтожить всё, чего ты уже достиг, и всё, чего тебе ещё предстоит достичь.

Он уселся на связки мягких листьев, а я рухнул рядом с ним, невольно вздохнув, хорошо понимая как истинность его слов, так и ничтожность своих духовных усилий. Он обнял меня за плечи и улыбнулся, а потом посмотрел куда-то вдаль через весь Сад:

— Наберись терпения, останови гнев, прекрати злиться даже на то, что кажется тебе твоим слишком медленным продвижением по Пути. Сохраняй хладнокровие, поддерживай непрерывность самообладания, не только встречаясь с внешними препятствиями и проблемами, но и с самим собой, — будь к себе добр, подбадривай и укрепляй себя: это намного полезнее для достижения той цели, к которой ты стремишься.

Мудрый страдает во время своих духовных исканий, а если ты будешь искать только приятного отдыха, то никогда не станешь мудрым. Не будь слишком привязанным к маленьким удовольствиям, но взыскуй высших радостей. Научись не только совладать с болью, но и видеть в ней средство, видеть в ней сам Путь — так ты сможешь сохранить честность, сможешь сохранить скромность, это позволит тебе сочувствовать тем,

кому повезло меньше, чем тебе. Поддавшись беспомощному разочарованию или гневу, можно только разрушать; научившись жить с болью и использовать её, обретаешь опыт, который сослужит тебе добрую службу на всём Пути к тому светлому дню, когда ты навсегда выйдешь за пределы всей и всяческой боли. Истинный Воин учится быть непоколебимым.

Мы ещё немного посидели молча, и тут на меня навалились и усталость от недолгого, впрочем, путешествия в Сад, и странные впечатления этой длинной ночи, и более всего — переутомление от освоения новых знаний и усилий по изучению столь нелицеприятного порой содержимого моего ума, — меня сморило, и я ненадолго уснул.

Мне приснился сон, будто я снова маленький, а на дворе весна, и все празднуют её приход — событие, о котором я давно позабыл. Утро, светит солнце, я сижу за деревянной партой в нашей школе и смотрю в окошко на своих одноклассников, разнаряженных по-весеннему ярко. Они играют в догонялки и пляшут под звучащую отовсюду музыку и радостно смеются. Я в классе один, мне очень хочется присоединиться к веселью, но мне почему-то не встать и не выйти на улицу.

Вдруг в класс входит монах с тёмными глазами и мягкой доброй улыбкой, берёт меня за руку и ведёт в огромную сводчатую залу с большими высокими окнами, через которые льётся солнечный свет, и великолепным гладким деревянным полом, натёртым до блеска. Он слегка подталкивает меня к центру залы, где больше всего воздуха и света, и говорит: «Танцуй, танцуй всё, что захочешь, придумай уже свой танец». И я вбегаю в сияющий солнечный свет, в самый центр огромного пустого собора и начинаю свой детский танец, начинаю кружиться, просто кружиться, раскинув в стороны руки, и смеюсь, *смеюсь*, смеюсь, запрокинув голову назад...

Шантидева легко коснулся моей руки; он уже был на ногах, наклонившись надо мной, его огромное сильное тело на фоне лунного света в монашеской одежде выглядело даже величественно.

— Нам пора, — кротко сказал он.

— Я это... как бы... подустал слегка, — отвечал я сквозь сон. — Вы идите, а я ещё посижу.

— Нельзя, — ответил он мягко, — нельзя — нет времени.

— Да ведь ещё вся ночь впереди.

— Кто знает? Кто знает?

— Ну ещё две минутки.

— Ни к чему это.

— Мне надо.

— Нет, тебе не надо.

— Ну правда, ещё самую малость.

— Вставай, мы отправляемся.

— Куда? Зачем?

— Твоя мать!

Я мгновенно проснулся.

— Моя мать?

— Да, твоя мать.

— Она что, здесь?

— Я этого не говорил.

— Тогда о чём вы? — спросил я, вскакивая на ноги против своей воли.

— Она ждёт, ты ей нужен, она хочет, чтобы ты пришёл. Ты пойдёшь или будешь отдыхать?

— Пойду, конечно же пойду. — Я почувствовал новый прилив сил, усталости как не бывало, а надежда придала мне лёгкость и наполнила радостью.

— Так и знал, что ты пойдёшь, — сказал монах и пошёл вперёд быстрыми широкими шагами; я без труда поспевал за ним. — Ты благословлён силой добродетели; ты чувствуешь радость, когда уверен, что делаешь добро, ты испытываешь великое воодушевление при мысли о том, что надо встать и помочь твоей матери.

Я и вправду чувствовал какую-то неведомую мне ранее свежесть и бодрость; не прошло и нескольких минут, как мы оказались у дорогой моему сердцу скамьи у подножия чинары — у парты в школе, в её школе. Здесь Шантидева развернулся так резко, что полы его монашеской одежды описали огромную дугу, и схватил меня за руки.

— Это будет здесь, и будет очень скоро, — весело заявил он.

Я с надеждой взглянул в его лицо и снова улыбнулся против воли, просто увидев сияние его улыбки.

— Что? Что будет-то?

— Вот на этой священной земле, — ответил Шантидева, указывая на маленькую зелёную лужайку, где мы так часто с ней возлежали, — которая скоро станет ещё священнее, ты получишь наставления о двух последних из шести совершенств, ты узнаешь их *в совершенстве* от того, кто превосходит меня величием.

Я задумался на мгновение, шевеля губами, ведь, несмотря на эту длинную ночь в Саду, он научил меня только трём из шести совершенств. Шесть минус три равно три. Значит, осталось три совершенства, а не два. Он показал мне даяние, добродетельную жизнь и управление гневом — только три.

— А как насчёт четвертого совершенства? Кто научит меня четвертому? — закричал я в страхе, что так и не узнаю его.

— Четвёртое совершенство есть радость: радость пребывания в добродетели; радость от добрых дел; благое чувство от того, что ты добр; то воодушевление, что поднимает тебя, усталого и разбитого, к новым благим свершениям. Это такая добродетель, сладость которой никогда не забудешь, попробовав хоть раз. Просто вспоминай свою мать, потому что она ждёт и в каждый миг, который она проводит без тебя, в каждый миг её пребывания в страдании и растерянности, где бы она ни находилась, — в тот самый миг ты уже должен быть на ногах, должен изо всех сил стремиться к высшим достижениям духа, чтобы иметь возможность добраться до неё и принести ей эти высшие дары.

— Это радостный путь в город восторга, это радостная задача — привести её с собой. У тебя нет вообще никаких причин удручаться, вообще никаких причин сомневаться, вообще никаких причин колебаться и вообще никаких причин повернуть назад. Ведь позади только смерть, позади — навсегда оставленная тобой жизнь, сулящая только боль в настоящем и боль в будущем, жизнь, состоящая из накопления вещей и человеческих отношений, которые нельзя удержать, которые можно только снова потерять. Ты на верном пути, ты нашёл свой правильный путь — так радуйся же, без оглядки мчись вперёд, ищи и найди её, танцуй — танцуй, кружись в том танце, какого только ни пожелает твоё сердце. — И он снова раскатисто расхохотался своим звучным глубоким смехом. Только вот непрошенные слёзы наполнили наши глаза...

Глава 11



ПУСТОТА. ГАУТАМА

Вот так и случилось, что я, тихий, безобидный книжный червь, втайне от всех начал вести героическую жизнь Воина. Это был поистине новый опыт, совсем иное восприятие привычного мира, ибо, хотя передний край сражений этого необычного Воина и проходил через всю ту же старую библиотеку, мою обжитую маленькую келью в скиту и знакомую тисовую аллею, по которой мне приходилось ходить по вечерам на рынок за овощами, сам я действительно чувствовал себя совершенно другим человеком, потому что моё предназначение стало совсем другим, чем было раньше. Моя прошлая жизнь казалась мне теперь прогулкой по бульвару с магазинами на каждом шагу; я был зевакой, я был покупателем, от нечего делать пялившимся на витрины в поисках чего-то такого, что привлечёт мой праздный взор, а затем прилагавшим все усилия, необходимые для приобретения полюбившейся безделушки.

Жизнь Воина была совсем иной. Я действительно был рыцарем в сияющих латах, верхом на грозном боевом коне, даже если сидел в своей маленькой библиотеке или бродил по тихим улочкам городка. Я гордо оглядывался теперь по сторонам, чувствуя себя всемогущим царём на троне, и искал любой возможности помочь своим подданным, любого случая защищать их и служить им, делая их радостными отныне и навсегда, вплоть до обретения ими полного счастья. Я жаловал им всё, что было в моей власти: говорил добрые слова, расточал ласковые взгляды, дарил милые улыбки, дружески похлопывал по спине, выгребал для них всю мелочь из карманов, подбадривал тех, кто упал духом, делился той толикой своих тайных знаний, которую они в состоянии были с радостью воспринять. Но в глубине души я подносил им несметные богатства, наделял их глубочайшими духовными достижениями, даровал им то, что не могло принадлежать никому: синеву бескрайнего неба, шум океанского прибоя, цветы, что украшали все альпийские луга этой планеты... Чем больше искренности было в моих поступках и мыслях, чем сильнее звучало во мне пожелание, чтобы в один прекрасный день они действительно смогли получить всё, что я

предложил им — особенно, конечно, просветление, — тем быстрее, уже не по дням, а по часам росло во мне глубокое радостное удовлетворение от моей благотворительной деятельности.

Росла моя радость, но вместе с ней усиливалась и жажда, ведь я знал, что обучение моё не было закончено. Как конь, знающий, где вода, чувствует, что она всё ближе, ближе и ближе, и всё ускоряет бег, так и я, зная, что могу достичь своих целей, был теперь одержим желанием достичь их побыстрее: я жаждал совершенства; я знал, что смогу найти свою мать, я знал, что она уже недалеко; внутреннее чувство подсказывало мне, что я совсем близок к тому, чтобы вновь встретиться с златовлаской; тот же инстинкт говорил мне, что и конец моих поисков, и обретение всего того, что я искал, и моя мать, и наставники Сада, и златовласка непременно сойдутся все вместе, не заставив себя долго ждать. Я взял и снова отправился в Сад, решив, что пришёл уже этот счастливый день, точнее, эта ночь.

Я точно запомнил дату, когда это произошло, и никогда потом её не забывал. Это было в самый разгар лета, двадцать восьмого июля. Я вошёл в Сад поздно ночью, когда земля уже успела остыть от дневного пекла, и уселся на землю у скамьи под чинарой, упиваясь душистыми ароматами лёгкого степного ветерка, постепенно забывая неподвижный испепеляющий воздух летнего полуденного ада, когда безжалостное солнце обжигает лицо, сушит ноздри и глаза.

Устроившись поудобней, я стал готовиться к созерцанию, медленно и с удовольствием выполняя все ступени разминки, как будто натягивал старую мягкую перчатку или начинал разговор со старым верным другом. Разминка подходила к концу, когда я почувствовал движение у калитки Сада, а вслед за этим увидел маленькую фигурку, которая тихо перемещалась вдоль кустов бордовых пустынных роз у северной стены. Фигура поклонилась одному из кустов, как бы совершив безмолвную молитву, а затем продолжила движение.

Сначала показалась монашеская голова правильной формы — коротко стриженные чёрные волосы были похожи на бархатную шапочку, — а затем монашеская одежда и тело. Ничего ещё толком не разглядев, я оказался на ногах, в глубоком поклоне, с ладонями, сложенными у груди. Я поднял глаза почти со страхом, с благоговейным трепетом даже, ибо передо мной был Гаутама, Будда собственной персоной, и, хотя ничто в его облике не соответствовало моим ожиданиям, у меня не было никаких

сомнений и никаких вопросов о том, Кто это был.

Невысокого, скорее, среднего роста и худощавого телосложения, Он словно застыл в едва уловимом поклоне скромности, которая казалась почти застенчивостью. Каждый его жест был прост и изящен, как проста и изящна была и вся его внешность и монашеское одеяние: чистое и ладное, оно естественно и незамысловато облегало его простую фигуру, видно, хорошенько привыкнув к ней за свою долгую жизнь. Никто не смог бы определить его возраст, я бы навскидку дал ему лет двадцать семь — двадцать восемь, но его лицо совершенно сбивало с толку. Оно тоже было простым и кроме скромности производило впечатление простодушной честности. У него были добрые, открытые, почти немигающие глаза, часто смиренно опускающиеся dolu. В его мягком и умном лице, в лёгкой и милой улыбке сквозила какая-то тихая радость и человечность. Его кожа и всё тело были такими же, как у вас или у меня, вокруг головы не светился нимб, и вообще никаких внешних чудесных проявлений вроде бы не наблюдалось, только вот глаза его лучились каким-то особенным чистым теплом, такое же тепло исходило от его нежных рук, и вообще весь он, от макушки до скромных босых ног, излучал доброе тепло. Это тепло распространялось по Саду, совершенно переполняя всё моё существо, так что я ещё раз поклонился Тому, который, похоже, не хотел да и не нуждался ни в каких поклонах.

— А ты присядь, — тихо сказал Гаутама, — пожалуйста, присядь.

Я машинально опустил на траву перед скамейкой, там же, где стоял, и ещё раз поклонился сидя, молясь о том, чтобы он сел на скамейку. Он так и поступил, слегка поколебавшись, как будто был не уверен, что достоин такого трона. Гаутама опустил на скамью тихо и грациозно и стал смотреть вниз на траву перед собой, почти смущённый, совсем как девица на выданье наедине с незнакомым мужчиной. Посидели, помолчали.

Через какое-то время он вытянул вперёд руку, и я увидел, что по дороге сюда он сорвал одну из красных роз. Он молчал, он просто держал передо мной розу, как будто предлагая мне взглянуть на неё, что я и сделал. Ни слова не было произнесено между нами, я просто взирав на цветок, а куда смотрел Будда, я толком не знаю, ибо по-прежнему чувствовал такой благоговейный трепет, что не смел взглянуть ему в лицо.

Неожиданно он убрал розу, взял меня тремя пальцами за подбородок и

медленно поднял мою голову так, чтобы наши глаза встретились.

— Роза, — сказал он и, вытянув вперёд обе руки, теми же пальцами опустил мне веки, продолжая придерживать их в этом положении. Я представил в своём уме розу, безупречную красную розу.

Потом его пальцы снова открыли мне глаза, и у меня перед носом опять оказалась та же роза.

— Не думай «роза», — велел Гаутама.

Я старался не думать «роза», старался не смотреть на то, что было у него в руках. Затем вновь взглянул и на какое-то мгновение, в течение кратчайшей вспышки сознания, я сначала увидел некий красный силуэт на фоне ночной тьмы, затем взгляд мой перепрыгнул на что-то круглое и красное, насаженное на что-то длинное прямое и зелёное. Но уже в следующий момент роза стала «розой» — я снова смотрел на розу.

— Ещё, — сказал Будда. Он дал мне взглянуть на розу, убрал её, осторожно опустил мне веки и повторил: — «Роза».

Я представлял себе розу, в моих мыслях была форма и цвет розы, а потом он аккуратно открыл мне глаза, подняв веки, и снова сказал:

— Не думай «роза», — как и в прошлый раз протянув её мне. Какое-то время перед моим взглядом мелькали формы и цвета, чтобы через мгновение снова стать розой в моём уме и в моих глазах.

Гаутама наклонился и коснулся земли, на пальце у него оказался маленький чёрный муравей. Он пересадил муравья на розу и позволил ему вскарабкаться на бутон. Муравей в панике заметался среди лепестков, перепрыгивая с одного на другой и обратно, то скрываясь в глубине цветка, то снова показываясь наружу, то почти вываливаясь с бутона на землю. Наконец Будда коснулся розой земли, и муравей с видом явного облегчения скрылся в густой траве.

Он спрятал розу в руке, и всё, что я мог видеть, была тыльная сторона его ладони, затем поднёс руку с розой к лицу, широко раскрыл свои глубокие карие глаза и, слегка наклонив голову вбок, взглянул, а потом и пристально вгляделся в розу сам. Мне были видны только его глаза, но в этих глазах я увидел какое-то чувство необычайного удовлетворения, было заметно, что эта роза вызывает у него огромную радость. Я понял тогда, что он видит нечто такое, что мне в моём нынешнем состоянии никак не увидеть: он испытывал некое состояние абсолютного

блаженства, вызванное вещью, на которую вроде бы глядел и я, и вместе с тем я осознал, что это не могло быть той же вещью, на которую глядел я. Гаутама накрыл розу рукой и повернул ко мне свои сияющие глаза.

— На мгновение, — тихо проговорил он, — ты видел розу до того, как успел подумать «роза», и тогда перед тобой мелькали какие-то простые формы и цветовые пятна. Потом твой ум определял это как розу. Несчастный муравьишка тоже ощущал те же самые формы и цвета, но чувствовал только опасность и смерть и думал только о том, как унести ноги. Когда я смотрел на те же цвета и набор простых форм, что и вы с муравьем, я видел всю бесконечность, ум всех и каждого живого существа, и испытывал к ним беспредельную любовь. — Гаутама замолчал и закрыл глаза, как будто давая время моему разуму осознать его слова и хорошенько их обдумать, прежде чем он продолжит. Затем он снова убрал руку, показав розу, открыл глаза и спросил меня: — Кто же из нас троих видел эту вещь правильно? Что это за вещь? Роза? Или Владыка Смерти? А может, человечность и совершенная любовь?

В его присутствии мне казалось, что у меня не мой прежний ум, а ум, принадлежащий какому-нибудь великому и просветлённому святому, поэтому я не чувствовал ни колебаний, ни необходимости отвечать словами. Вещь, которая была в его руках, одновременно была и каждой из перечисленных им трёх, всеми ими сразу, и ни одной из них. Для каждого из трёх существ, которые глядели на неё, она действительно была тем, что они в ней видели; она была суммой всех вещей, которыми она казалась всем троим; она никогда не смогла бы стать тремя различными вещами одновременно. Она была тем, что каждый видел в ней.

Он снова накрыл розу рукой и сделал паузу. Потом наклонился и жарко зашептал мне:

— Теперь смотри на неё, как на вечность; смотри на неё, как на всё человечество, и познай ту любовь, которую я сам испытываю к каждому из вас.

Он убрал свою руку в каком-то радостном возбуждении, почти в трансе, я с нетерпением взглянул в его ладонь и увидел — простую алую розу.

Я в разочаровании закрыл глаза и устало сказал только:

— Не могу.

— Знаю, — ответил Будда.

— Но почему?

— Ты и сам прекрасно знаешь почему; ты видишь только то, что тебя заставляет видеть твой ум; ты видишь только то, что позволяют тебе видеть кармические отпечатки в твоём уме. Даже если ты смотришь на ту же самую вещь, в которой я вижу бессмертие, всю беспредельность жизни и чувствую бесконечную любовь к ней.

Я закрыл глаза и подумал: «Роза». Я открыл глаза и увидел «розу». Будда поднял ноги на скамейку, скрестил их под монашеской одеждой и ушёл в созерцание. Я тоже скрестил ноги и последовал за ним. Повисла тишина. Сначала исчезли все звуки Сада, потом все его запахи и само чувство Сада, потом я утратил ощущение того, что я сижу в Саду, и наконец я потерял даже мышление, даже мысль о себе самом. Это было совершенное и полное спокойствие.

Я узрел пустоту. Была только пустота, и я увидел её. Больше не было ничего.

Когда всё закончилось, ощущения начали возвращаться. Я почувствовал, что выхожу из созерцания, потом ко мне вернулось самоосознание. И в тот же момент я осознал, что только что в первый раз видел *пустоту*.

И тогда я осознал, что видел Просветлённого, и окончательно уверовал, что Просветлённые существуют на самом деле.

Тогда я окончательно осознал, что и сам стану Просветлённым в течение семи жизней, а значит, узнал, что мои будущие жизни действительно существуют.

Я осознал, что следую истинным Путём.

Я осознал, что когда я стану Просветлённым, то больше не буду называться своим именем.

Я осознал, что эти семь жизней будут счастливыми, в них не будет больше настоящего страдания, что я буду окружён любящими родителями, опытными и добрыми наставниками, духовными собратьями и учениями, — всем тем, что мне будет нужно, без изъяна.

Я осознал, что всё, увиденное мною, было истинным. Что я не смогу больше сомневаться в этом снова и снова. Я знал, что не ошибся, не был введён в заблуждение, не грезил наяву и не повредился рассудком. Я

осознал, что никто и никогда — кем бы он ни был, что бы он ни говорил — не заставит меня сомневаться в том, что я видел.

Я осознал, что понимаю всё, о чём говорится в каждой священной книге мира; я осознал, что полностью впитал в себя великий океан знаний, как будто его уменьшили до детской слезинки. И я осознал истинность этих священных книг и узнал, что должен отдать свою жизнь, чтобы они остались в этом мире для тех, кто придёт после меня.

Я любил всех живущих. Из груди моей вышел свет, подобный лучу мощного прожектора, был он бесцветный, и, выйдя наружу, коснулся каждого живого существа, и тогда я осознал, что буду всегда жить для каждого из них и только ради них и что нет для меня никакого другого дела.

Я осознал, что изображения Просветлённых истинны. Я осознал, что мы должны беречь и почитать их. Я осознал, что должен кланяться им, и, когда настало время подниматься, я распростёрся ниц перед ними.

Я осознал, что увидел иную реальность, настоящую реальность, действительно более возвышенную и чистую реальность. Я осознал, что в той реальности, которую я знал до этого, нет ничего похожего на эту истинную реальность. Я осознал, что моя прежняя реальность не была чистой реальностью. Я осознал, что в ней не было ничего, что в принципе могло быть чистым. Но я осознал также и то, что из всего того, что составляет эту мою прежнюю реальность, один только алмаз приближается к тому, чтобы быть чистым, чуть ли не во всех отношениях совершенным: совершенно твёрдым, совершенно прозрачным и почти вечным.

Я осознал, что умру. Я осознал, что мой ум не был ещё чистым. Я осознал, что мой ум всегда видел всё неправильно до того момента, когда я узрел-таки пустоту. Я осознал, что даже после этого, после выхода из созерцания, я снова вижу вещи неправильно, и это будет продолжаться до тех пор, пока я вплотную не приближусь к вратам просветления. Я осознал, что смогу читать мысли других. Я осознал, что если стану развивать свои силы, то смогу творить чудеса.

Я осознал, что я стал теперь кем-то другим, потому что, в отличие от всех остальных людей в этом мире, я узрел и осознал пустоту и прочие возвышенные истины, и потому что отныне мне не суждено будет страдать, как раньше. С этим было покончено; я осознал, что покидаю

этот мир страданий, я был полностью уверен в этом, как и в том, что эта бодрящая уверенность навсегда останется со мной.

Я взглянул на Гаутаму с благодарностью. Он пристально смотрел на меня в полном молчании и совершенном восторге. Он знал всё.

Глава 12



АНГЕЛ

После того, что я пережил в Саду с Буддой, жизнь моя полностью переменялась. Представьте себе человека, который знает всё, что должно случиться с ним в будущем, человека, который узрел наивысшие достижения духа; о чем ещё мечтать? Последствия тех знаний, что я получил о своём существовании, сопровождали меня на протяжении долгих лет, постоянно проясняясь, — с каждым годом росло и становилось глубже понимание старых истин, возникали новые духовные стремления. Совсем скоро я почувствовал потребность обратиться к добрейшему настоятелю того скита, где жил, и испросить его разрешения принять полные монашеские обеты. Это не сильно изменило мою внешнюю жизнь, скорее, я почувствовал, как будто вернулся домой, как будто жизнь монаха была моим естественным состоянием. То, что после церемонии посвящения я на законном основании стал вести праведную жизнь монаха, прошло для меня почти незамеченным.

Зато работа в библиотеке обрела новый смысл: я чувствовал, что мне совершенно не хватает знаний относительно всего того, что произошло со мной в Саду, и вот я начал один за другим штудировать увесистые фолианты духовных писаний, которые хранились в её собрании. Прошли годы, пока я натолкнулся на священные книги, написанные каждым из Учителей Сада. Учение о бритве и мёде я обнаружил в «Руководстве к жизненному пути Воина» Учителя Шантидевы, а объяснение истинности боли—в «Великом трактате о ступенях пути» самого Цонкапы. Попалась мне и работа Камалашилы «Ступени Созерцания», где подробно излагались все нюансы буддийской медитации.

На все дополнительные вопросы, которые только могли у меня возникнуть к Мастеру Дхармакирти относительно его доказательств существования прошлых и будущих жизней, я нашёл ответы во второй главе его «Комментария к достоверному познанию». Большая часть наставлений Учителя Васубандху о смерти обнаружилась в «Антологии непостоянства», содержащей слова самого Будды, а также в описании созерцания смерти из «Великого трактата». Несметные миры и сферы

ужаса, о которых он упоминал, были описаны в одном из его собственных сочинений «Сокровищница высшего знания». Я обрёл исчерпывающее понимание негативных состояний ума, борьбе с которыми меня обучал Майтрейя, прочитав множество различных трудов о совершенствовании мудрости, и особенно в его собственном труде «Украшение духовных постижений», а также в комментариях к нему, составленных позже.

Учение о кармических отпечатках и той роли, которую они играют в нашей жизни и в нашем мире, глубоко и всесторонне рассмотрел сам Далай-лама Первый в своём комментарии к четвёртой главе «Сокровищницы» Учителя Васубандху. Исключительно важные подробности того, как отпечатки хранятся и созревают в уме, я снова обнаружил в произведении Великого Цонкапы «Прояснение истинной мысли», точнее, в той его части, где он подробно рассматривает взгляды буддийской школы, признающей существование одного лишь ума. Более детальное изложение вопросов нравственной жизни я изучал по работе Учителя Гунапрабхи под названием «Свод правил поведения», а также по более поздним пояснениям к ней, особенно по тому, что составил всеведущий Цонкапа.

Сущностные наставления по практике *принятия и дарования*, которые я получил от Учителя Асанги — то есть подробные разъяснения о том, как в созерцании избавлять от боли и даровать счастье при помощи дыхания, — позже обнаружились в «Подношении священным Учителям», написанном Панчен-ламой Первым, а ещё в исчерпывающих объяснениях ламы Дхармабхадры. Дальнейшее развитие учения Шантидевы о деяниях Воина я, конечно же, обнаружил в его «Руководстве», а также в труде Учителя Чандракирти «Наставления по срединному пути». Именно в последней книге, а также в сутре самого Будды «Алмазный огранщик» мне удалось найти некоторое описание моего последнего переживания в Саду.

Почему последнего? Потому что больше в Сад я не возвращался, а мои исследования, о которых я так быстро рассказал, отняли у меня ни много ни мало двадцать лет. Вот сколько времени понадобилось, чтобы полностью изучить, осознать и усвоить всё то, что мне открылось за несколько минут, проведённых с Буддой. Я регулярно молился и созерцал, я помогал настоятелю своего скита, я тщательнейшим образом изучал те священные тексты, что хранились у нас в библиотеке, — мой

ум взрослел, а дух укреплялся. Сказать по правде, с годами я всё меньше и меньше думал о своей матери — когда-то, вскоре после её смерти, я начал свои поиски, и это было тогда частью моей жизни, а теперь *вся* моя жизнь стала таким поиском. Теперь я не столько думал о том, чтобы просто найти её и помочь ей, сколько превратил все свои дни и ночи в путь, по которому, как я чувствовал, должен был следовать, чтобы когда-нибудь увидеть её или снова быть с ней. Был у меня и портрет златовласки в детстве, на нём она держит небольшой букет цветов и сияет от счастья, как маленькое Солнышко. Я держал его у изголовья моей кровати и часто смотрел на него, всякий раз понимая, что она находится в этом мире, что всё у неё хорошо и что обязательно придёт время, когда я снова окажусь в её присутствии.

Кто тем поздним вечером принёс в мой дом записку — сложенный вчетверо листок со словами «Приходи в Сад» и без подписи, — я так и не узнал, но зато сразу узнал её почерк. Как это часто случалось в дни моей молодости, не было никакой другой подсказки, не были указаны ни дата, ни время, и, так же как в дни моей молодости, мне пришлось сидеть и размышлять наедине с самим собой, прикидывая и так и эдак, когда же я должен прибыть в Сад. Новолуние было всего несколько дней назад, и я знал, что она не захотела бы встречаться со мной в такой темноте. До полнолуния было ещё слишком далеко, и я знал, что она вряд ли заставила бы меня так долго томиться в ожидании в самый желанный момент моей жизни. Поэтому я решил появиться в Саду на десятую ночь прибывающей луны, до которой, с одной стороны, оставалось не так много времени, а с другой стороны, в которую будет вполне достаточно света, чтобы я мог надеяться снова увидеть её прекрасное лицо.

Была ранняя весна, время пробуждения природы даже здесь, в пустыне. Это показалось мне очень символичным, потому что, несмотря на то что эти двадцать лет вдали от Сада были плодотворными в самом высоком смысле, они всё же больше напоминали студёную снежную зиму или даже пребывание в коконе.

Многое изменилось в моей жизни, многое изменилось и в Саду: калитка заржавела и обветшала, кирпичи и скамейка были на месте, но выцвели от времени и вытерлись от прикосновения рук и ног. Разве что чинара выглядела почти такой же, как и раньше, да вот ещё фонтан всё с тем же весёлым журчанием разливал свои струи. Я тяжело опустился на скамейку, ощущая всем телом груз прожитых лет, но сердце моё стучало

в радостном предвкушении, совсем как в молодости, мысли, надежды и воспоминания кружили голову. Подперев голову руками, я прислушивался к затихающим звукам в Саду. Наступала ночь, а её всё не было.

Взглянув вниз, я увидел длинный стручок с семенами, упавший с чинары, наклонился, поднял его, положил себе на колени и стал в задумчивости смотреть на него, ожидая. Мне всегда хотелось прийти в Сад с дарами, мне всегда хотелось принести драгоценные подношения моим наставникам, но ни одна вещь за все эти годы не показалась мне достойной такого подношения. Что бы я ни выбирал в качестве подарка для Учителей, всё представлялось мне никчёмным и ничтожным в сравнении с теми бесценными сокровищами, которыми они щедро делились со мной. Кончилось тем, что я так ни разу ничего им и ни принёс. Но теперь, пока я сидел и ждал её прихода, держа в руке стручок чинары и глядя на обойму семян, я понял, чем отплатить наставникам за их доброту, и поклялся перед самим собой поднести им именно этот дар. Я возьму эти семена и выращу новые деревья в тех Садах, которые посажу для других Учителей, чтобы они могли так же учить своих учеников, как мои Учителя научили меня.

Мне пришлось прождать несколько часов, сначала нетерпеливо, а потом всё более и более умиротворённо. Годы размышлений над всеми событиями, которые произошли со мной в этом Саду, и десятилетия созерцания и служения, казалось, первозданным вихрем кружились вокруг меня, сглаживая неровности и шероховатости снаружи и уплотняя ядро внутри, пока не создали нечто крепкое и цельное. Это была очень ясная и единственная в своём роде мысль, некоторое время вызревавшая во мне и дававшая мне намёки и указания на некую высокую истину, — и вот теперь, за время ожидания златовласки, эта истина неожиданно проявилась, стала очень простой, понятной и сверкающей, как кристалл, который излучает собственный свет. Всё началось с того, что я снова вспомнил свою мать и те страдания, через которые ей пришлось пройти.

Теперь я видел ясно, что её страдание явилось следствием прошлых событий её собственного существования: то, что она думала, говорила или делала, создало в её уме кармические следы, или отпечатки, которые заставили её видеть, как она страдает и умирает в страшных мучениях. Когда я думал о двух величайших страданиях моей собственной жизни — разлуке с матерью и с госпожой Сада, — я знал, что они созрели в моём

уме точно таким же образом. Я знал также, что любое страдание можно изменить только в том случае, если его причина — соответствующий отпечаток в уме — может быть изменена путём очищения ума от негативных кармических следов прошлого и наполнения его новыми — здоровыми и сильными — позитивными отпечатками. Могу сказать без ложной скромности, что недаром прожил эти двадцать лет моей жизни, изо всех сил очищая свой ум от негативных семян прошлого; что также неуклонно следовал пути Воина, вкладывая в это недюжинные и бескомпромиссные усилия, направленные как вовнутрь меня, так и наружу, и, таким образом, посадил в своём уме отборные кармические семена огромной силы и высокой всхожести. И теперь я знал, спокойно и уверенно знал, что моя жизнь, окружающая меня реальность — та реальность, которую заставляли меня видеть новые отпечатки, по мере того как они расцветали пышным цветом в моём уме, — должна была, без всякого сомнения, начать изменяться, превращаясь в прекрасный мир добра и света, превосходящий все мои самые смелые фантазии, всё то, на что я надеялся в Саду, когда вступал на этот путь безусым юнцом.

Короче, я знал, почему ко мне попала эта записка; знал, что непременно встречу её именно здесь и сейчас; знал, что сейчас произойдёт что-то очень хорошее, самое хорошее из всего, что только может произойти.

Как только эти мысли подошли к концу, закончилась и звенящая священная тишина — я услышал её шаги. Сомнений быть не могло, это могли быть только её шаги, и ничьи другие, хотя по звуку они так мало походили на её танцующую юную походку, воспоминание о которой я хранил в памяти. Это была мерная и уверенная поступь сильной женщины средних лет. Моё сердце застучало ещё сильнее, мне показалось, что оно вот-вот разорвётся в груди. Я инстинктивно сполз со скамейки на траву, не решаясь поднять на неё глаза, и слышал только, как она подошла и села.

Когда сердце моё поутихло, мне стало слышно её дыхание. Я просто сидел и наслаждался этим звуком, тем ещё, что она по-прежнему живёт в моём мире, что ещё раз я смогу её увидеть. Меня окутало благоуханное облако с преобладанием запаха гардении — неизменно сопровождавшего её аромата, который я с тех пор ни разу не встречал, — отозвавшегося в моём сердце страданием, которое не вызвал бы ни звук, ни образ. Я почувствовал, что в Сад пришла весна, я радовался окончанию долгой

зимы и восходу нового солнца, приходу тепла. Я оттаивал в её присутствии, вдыхал и пробовал на вкус ароматы, прислушивался к песне её дыхания, которое казалось мне тёплым ветерком, прилетевшим из лета. И тут я поднял голову.

Я сразу увидел взгляд её карих оленьих глаз, которые смотрели на меня спокойно и нежно. В них светились мудрость и сила, которые приобретаются с годами лишений и разлук. Она взяла мою руку, а я перевёл свой взгляд с её глаз на лицо.

Передо мной сидела усталая, измождённая женщина: время иссушило юный овал её лица, заменив его угловатостью, щёки и подбородок стали твердыми, лоб и кожа вокруг глаз были иссечены морщинами, оставленными безжалостным временем, не пощадившим ни её шеи, ни рук. Её длинные волосы по-прежнему оставались золотыми, но уже не вились, как прежде, стали тонкими, ломкими и безжизненными; то здесь, то там снежная седина пробивалась сквозь истончившуюся позолоту. Во всём её облике сквозила усталость: и в сутуловатых плечах, и в жёстких складках в уголках губ, и в смиренном взгляде. Она прожила нормальную жизнь, напоминающую жизнь моей матери, в которой было всего понемногу: немножко счастья, чуть больше трудностей и совсем уже много разочарований. Теперь жизнь её подходила к концу, и, казалось, у неё совсем не осталось надежд, да и те, что остались, и надеждами-то было не назвать, так, иллюзии и самообман. Она была обычной женщиной, матерью, домохозяйкой среднего возраста, она жила как все: без божества, без вдохновенья, без слёз, без жизни, без любви.

И всё же, несмотря на то что я увидел, меня тянуло к ней, с ней были связаны надежды всей моей жизни, мною, кроме того, двигали все те знания, которым я учился и научился не только разумом, но и сердцем. Одна мысль стучала в моём сердце, неотвязная мысль, я знал, что мне надлежит сейчас делать, но никак не мог на это решиться. И ведь я знал, что только она могла привести меня когда-то в этот Сад. Я знал, что только она могла первой учить меня, и я знал, что те безмолвные уроки, которые она преподавала мне там, были совершенно безошибочными и не имели ничего общего с мирскими занятиями. Я знал, что моя жизнь оформилась в этом Саду, и я знал, что она не была обычной женщиной и уж, конечно, не была той потрёпанной жизнью домохозяйкой, которая предстала сейчас передо мной. Я знал, что она вполне могла быть просветлённым существом и что она появилась у меня в доме в дни

нашего детства ради меня, ради того, чтобы она, а затем и все Учителя Сада могли давать мне наставления.

Я знал, что не следует принимать на веру очевидную обыденность её облика, и я хорошо знал, что мне надо сейчас сделать, — сделать, несмотря на то что какая-то часть моей натуры всё же колебалась, боялась, сомневалась. Наконец я справился со своими страхами, упал на траву и простёрся перед ней ниц, затем встал на колени, схватил её руки, зарылся в них лицом и зарыдал, повторяя:

— Возьми меня, умоляю тебя, заberi меня к себе на небеса.

Она выдернула свои и руки и всем телом отшатнулась от меня к спинке скамьи. Я взглянул ей в лицо, чтобы спросить, в чём дело, но не увидел в её глазах ничего, кроме ужаса.

— Не забывайся! — вскрикнула она. — Ты же теперь монах!

Я застыл на какую-то долю мгновения, но затем мой опыт, знания и молитвы всей моей жизни подсказали мне, что делать. Я снова потянулся, чтобы взять её руки, и во второй раз попросил:

— Ангел, золотой ангел, умоляю тебя, возьми меня с собой!

В тот же миг она опять вырвала руки, и я почувствовал хлёсткий удар по щеке. Я уронил голову от стыда и сомнения, глаза мои закрылись, а она продолжала выговаривать мне с досадой и удивлением:

— Что за бред? Ты что, из ума выжил? Открой глаза и посмотри на меня! Какой ещё ангел? Я обычная женщина, каких миллионы, у меня семья, муж, дети мал мала меньше—я обычная женщина, я состарилась и устала, жизнь моя на исходе, я ничего не знаю и ни на что уже не надеюсь. Да посмотри же на меня!

Я снова простёрся перед ней ниц, она уже стояла и гневно топнула ногой, едва не наступив на мои молитвенно сложенные руки:

— Прекрати! Встань немедленно! Нет, ты ненормальный! Она было повернулась, чтобы уйти, но я схватил её руку, поднялся на колени и третий раз взмолился, орошая её руки своими слезами:

— Возьми меня, прошу тебя, пожалуйста, прямо сейчас!

— Посмотри на меня! — потребовала она. Я не мог.

— Посмотри сейчас же! Я не мог.

— Любовь моя, подними уже глаза.

Будь что будет! Я прочёл краткую молитву и взглянул вверх и увидел её лицо, всё в лунном свете, обращенное ко мне. Это был истинный лик ангела — прекрасное красотой молодости лицо шестнадцатилетней девушки, сияющее, нежное, полное бесконечной любви и залитое слезами. А потом оно медленно и плавно начало менять свои очертания, причём я чётко и ясно разглядел в нём лица каждого из Учителей Сада и понял, что это всегда была только она. И она взмахнула руками в лунном свете, как огромными золотыми крыльями, и, подойдя ко мне, накрыла меня ими, подобно грозному защитнику.

А потом всё стало стихать, я слышал только своё прерывистое дыхание и то, как кровь стучит у меня в висках. Хорошо знакомое тепло её тела обволакивало меня.

И в этом тепле дыхание успокоилось, стало лёгким и безмятежным.

А потом всё стихло, совсем стихло.

А потом был нестерпимый жар, он нарастал, и было восхождение, пока два золотых огненных столба не рванули ввысь, в бездонную пустоту ночного неба.

А потом два огненных столба стали одним.

А потом я стал ею, ею самой. Я взглянул — или взглянула? — вниз и увидел, как золотые пряди ласкают мои маленькие упругие груди, сотканые из света. Я оглядел свой Сад её взором и увидела его совершенство, увидела, что это и есть рай.

Я поднялась ещё выше и увидела не только Сад и пустыню, но и светло-синий океан, простиравшийся до самого горизонта. Вся его поверхность была покрыта мелкой рябью от лёгкого бриза — тысячи, миллионы крошечных волн.

Светлая синь океана сливается с небом, становится темнее, ещё выше эта густая синева превращается в сияющее золото; его блеск становится всё сильнее по мере приближения к Солнцу и совсем уже нестерпимым для глаз, когда касается Его диска.

Солнце неподвижно покоится в небе. Его природа состоит в том, что оно просто пребывает там, сияя во все стороны.

А вот море движется. Рябь на его поверхности — триллионы крошечных волн, бурунов и водоворотов — вздымаются, обретают

форму, видоизменяются и снова исчезают в океане. Каждая волна на какой-то краткий миг обращается к светилу своей гладкой поверхностью, и тогда солнечный свет вспыхивает в ней — кажется, что триллионы алмазов вспыхивают по всему океану. Солнце отражается в каждой волне, оно пребывает в каждой волне в виде крошечной искорки бриллиантового огня без намерения там пребывать, оно просто светит, потому что оно — Солнце.

В этот момент я и есть это самое Солнце. И будучи Солнцем, я — сразу и везде, я — в каждой волне, где на краткий миг вспыхивает мой огонь. И каждая такая вспышка солнечного света над морем вмещает в себя целый мир, наполненный жизнью, кишачий людьми, животными, насекомыми и другими живыми существами: они рождаются, живут, изменяясь, умирают в своей бесконечной и бесполезной погоне за счастьем.

Я ищу свою мать в каждом из этих бесчисленных миров.

Среди бесчисленных лиц живых существ я ищу её лицо.

И не могу найти никого, кто не был бы ею. И поэтому я свечу им всем, обогреваю своим теплом всех и каждого, и в каждом новом Саду в моих лучах купается росток новой чинары.

Прикоснись уже к Солнцу.

Как обращаться с буддийскими книгами

Дхарма — Учение Будды — чудодейственное лекарство, помогающее вам самим и всем живым существам избавиться от страданий. Ко всякой книге, содержащей Учение Будды (а даже одно слово дхармы или имя Будды делают книгу таковой), следует относиться уважительно, на каком бы языке она ни была написана. Избегайте класть книгу на пол или на стул. Не переступайте через книгу и не ставьте на неё какие-либо предметы — даже изображения Будды или божеств. Храните книги дхармы на алтаре или в другом почётном, чистом и предпочтительно высоком месте.

Не выбрасывайте, подобно мусору, старые или ненужные книги, содержащие Учение Будды. Если возникла такая необходимость, лучше сожгите их — предание огню считается уважительным способом избавиться от пришедшего в негодность религиозного текста. Таким же образом рекомендуется с почтением относиться и к писаниям других духовных традиций.